
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАССКАЗ

Бахытжан Канапьянов
(г. Алма-Ата)



Поэт, прозаик, переводчик. Автор книг, вышедших во многих странах. Лауреат ряда литературных премий. Собственный корреспондент «Литературной газеты» по Казахстану.

ВИШЕНКА

Так случилось, что она пережила своих сестер. Еще по прошлогодней весне, когда она родилась в завязи среди цветущей накипи на верхней ветке, судьба уберегла ее от срыва или падения во дворе на дорожку между домами, сплошь усеянную спелыми черешнями, которую клевали горлинки и воробьи, да шинами давили машины, заезжающие в этот просторный двор между двумя трехэтажными домами.

А затем, спустя месяц, эта участь настигала и ее сестер-вишен.

А в соседях с ней расположилось тутовое дерево — шелковица. Вот с ее ветвей большие зрелые черные плоды-ягоды склевывали голуби и вездесущие воробьи — жадно и самозабвенно. Не доклевав одну ягоду, впивались в другую и затем исчезали в густой листве тутовника, и только слышалось ей чирк-чирк от сытого клева, да самодовольное воркованье голубей изредка доносилось до ее слуха.

Чуть поодаль росло еще одно старое тутовое дерево, но его плоды-ягоды были в отличие от этого дерева белыми. И все эти черные и белые ягоды за ночь падали на асфальт дорожки, на капот и крышу стоявшей у подъезда машины. Хозяин, выезжая утром на работу, сметал их, и они оставляли созревший сок каплями крови на стеклах и на земле.

Жильцы этих двух домов не успевали, а может быть, особо и не жаждали собирать эти плоды-ягоды ничейных деревьев, разве что дворовые сорванцы карабкались по стволам и там, удобно расположившись между ветвей, набирали полные пригоршни ягод, не всегда спелых и зрелых. И на этом завершался сбор урожая.

А перезрелые ягоды от легкого порыва ветра сами падали под колеса машин и подошвы прохожих. А затем бурными пятнами ушедшей жизни проступали вдоль журчащего арыка.

Все это было видно ей, вишенке, которая, укрывшись в тени листочка-лепесточка, продолжала зреть и наливаться соком жизни.

И что-то вновь и вновь удерживало ее на верхней ветке, и была она почти незаметна среди мелкой листвы. И даже когда ее, почти перезревшую, ветвь выталкивала туда, где уже канули ее многочисленные сестры, превращаясь в мертвые пятна на асфальте дорожки, она вновь и вновь цеплялась кончиком своей плодоножки за верхнюю ветку, ибо не раз видела, чем кончалось это падение.

Так ее не тронули ни чьи-то безжалостные руки, ни клюв вероломной птицы. Правда, однажды случайный воробей клюнул ее на лету, но она, благодаря дуновению ветра, успела спрятаться в гуще листвы, и воробей не стал возвращаться, а устремился к более податливым ягодам черешни.

Так и осталась с той поры на боку рана от наскока воробья, да такая глубокая, что обнажила ее желтую косточку.

Ей с высокой ветви хорошо было лицезреть цветение этой улочки-сквера, которая упиралась в головной арык. Многие деревья здесь, у арыка, посадил еще в прошлом веке писатель, чей дом-музей находился недалеко от ее дерева, на той стороне этой самой улочки. Об этом она услышала однажды вечером из беседы двух старушек, уютно расположившихся на балконе, рядом с той самой высокой веткой, с которой и свисала она, скрываясь в листве, вишенка.

Сирень, китайская и белая, бордовая и фиолетовая, акация, местная и заморская, каштаны и березы, ель и туя, клен и тополь, яблоня и груша — все это образовывало смешанную аллею, где на скамейках целовалась молодежь и отдыхали пенсионеры, да молодые мамы вывозили на колясках своих чад, и катали их от арыка до фонтана, радуясь и наслаждаясь ночной прохладой южного города, прильнувшего к подножью синих и белоснежных гор.

И вишенка радовалась всему, что ее окружало на этой высокой ветке. Гусеница медленно выползала к листу, белая бабочка в пятнышках, чуть шевеля усиками, порхала в час знойного полдня, божья коровка была почти незаметна среди поздних ягод, но и ее замечала вишенка, чуть выглядывая из-под листочка-лепесточка.

А затем стали исчезать эти малые листочки с ветвей. Они вначале желтели и наряду с другими красками осени опадали с деревьев, покрывая своим разноцветным шуршащим ковром дорожку, что пролегла вдоль арыка. Арык также принимал эти ниспадающие в медленном кружении листья — красные, желтые, оранжевые, бурые и еще пока зеленые. И уносил под свое спокойное журчание куда-то за соседнюю улицу, за следующий квартал, за городскую окраину. Некоторые листья прибывало течением арыка к каменным выступам. Там они и замирали до прихода дворника.

А затем пошли долгие дожди.

И вот однажды выпал снег.

Снег плыл вертикально, в тишайшем безветрии. Вишенка, которая все еще оставалась на верхней ветке, но уже одна, без листвы, даже без того самого листочка-лепесточка, который прикрывал ее существование на ветке, вишенка слышала звук падающих снежинок. И под этот божественный звук она уснула, только в ее полураскрытой косточке продолжала биться тяга к жизни. Быть может, потому она и продолжала прозябать в ночные морозы, но не отмирала на этой самой ветке, которая так же, как вишенка, была без листвы и чернела своей кривизной среди выпавшего снега. Ветвь и вишенку связывала между собой не только плодоножка, но нечто большее, невидимая внешнему миру нить, сплетенная из памяти прошлой жизни, когда и ветвь, и вишенка в лиственном уборе и одеянии наслаждались всем тем, что сейчас подвергалось неминуемому забвению.

Вся она сморщилась, из когда-то спело-красной вишенки превратилась в темно-коричневую старуху-уродину с отклеванным боком, но она все еще помнила весну былого цветения.

Вишенка все чаще и чаще уходила в себя, находясь одна на верхней ветке. Правда, однажды она очнулась, когда что-то черное и каркающее опустилось на родную ей ветвь и чуть не стряхнуло ее, вишенку, вместе со снегом на ледяной наст.

Это была ворона.

От ужаса и страха она сама чуть не сорвалась вместе с плодоножкой, но родная и добрая ветвь удержала ее, слегка наклонившись, упрятала ее в горсть снега, застрывшего между стволом и ветвью.

А по весне, когда все вновь расцвело, когда набухли почками и очнулись от зимней спячки ветви, и дорожка у весело журчащего арыка вновь покрывалась белыми и розоватыми лепестками цветов черешни, яблонь и шелковицы, а ее взрастившая ветвь только начинала наполняться соками жизни и будущего цветения, завязь новой плодоножки и новой будущей вишенки в одно мгновение вытолкнула ее с ветви прошлой жизни, и вишенка, скользя по другим ветвям и стволу, скатилась на ту самую дорожку у арыка, где белели опавшие цветные лепестки с фруктовых и ягодных деревьев этого просторного двора.

И посреди этих лепестков, на дорожке у журчащего арыка, смутно слыша приближающееся шуршание метлы дворника, покоилась она, вишенка, дряхлая и прошлогодняя, вопреки всему вновь увидевшая весну и почти пережившая цветение былой своей жизни.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

I

Летний кинотеатр моего детства. Те же саманные высокие стены, напоминающие глиняные дувалы, верх которых венчают решетчатые штыри, скрепленные между собой литыми узорами из чугуна. Те же самые дубы, раскинувшие свои вековые ветви над стенами кинотеатра. Так же, как и в те годы, сидят стайками мальчишки на этих стволах и, забыв обо всем на свете, смотрят очередной «недетский» фильм. Все как прежде, как тогда, кажется, что ничего не изменилось, лишь фильмы стали иные, но их полуторачасовая жизнь все так же заставляет зрителей плакать, смеяться, и они, затаив дыхание, сопереживают персонажам и героям фильма в этом летнем кинотеатре Ахмета.

Я сижу под звездами в темном открытом зале. Сноп проекционного луча, пробивая тьму и полчища ночной мошкары, пролегал над головами зрителей. Я вглядываюсь в их лица. Знают ли они, почему этот летний кинотеатр носит имя Ахмета?..

Должны знать.

II

Ему было за шестьдесят. Он еще во время войны мотался с кинопередвижкой по прифронтовым дорогам, показывая бойцам героические фильмы тех лет: «Секретарь райкома», «Радуга», «Иван Грозный», «Александр Невский», «Два бойца», «Парень из нашего города».

Солдаты, несмотря на близость вражеских позиций, во все глаза взирали на эту почти земную жизнь, чем-то похожую на их военную тяжесть, но невидимым образом разделенную на вымысел и реальность. Многие из бойцов впервые в жизни видели это самое кино, ибо на скорых сборах им было не до фильмов, они, мобилизованные из глухих сибирских хуторов и деревень, из горных и степных кишлаков и

аулов, проходили совсем другую науку — науку убивать. И в эти короткие часы они, взирая на экран, радовались посланному с небес в лице бойца-киномеханика Ахмета наслаждению и передышке, когда можно перекурить и не только следить за действием сюжета, но и думать о самом сокровенном, что осталось по ту сторону Урала.

Во время бомбежек Ахмет выключал движок, и когда гул фашистских бомбардировщиков угасал в ночном пространстве, бойцы нетерпеливо бурчали:

— Давай, Ахмет, крути дальше. Улетели «мессеры».

И после войны Ахмет не расстался с любимым делом. Когда началась целина, он мчался на разбитой полуторке по дорогам Северного Казахстана в отдаленные совхозы и аулы. И молодые парни, целинники, радовались любому фильму, привезенному Ахметом из облкинопроката. А через пять лет, почувствовав боли в пояснице, он приехал в наш южный город показаться врачам, так и остался здесь жить у сестры. Врачи определили радикулит, и Ахмет устроился киномехаником в летний кинотеатр. Фильмы показывал три раза в неделю, а зимой работал сторожем здесь же, в парке.

Начиная с апреля, мы, дворовые мальчишки, не давали ему прохода:

— Дядя Ахмет, ну когда?..

— Рано еще, холодно ведь во дворе,— улыбался он в редкие усы.— Вот ближе к майским праздникам потеплеют ночи, тогда и начнем.

— Только обязательно про войну, дядя Ахмет.

— Хорошо, пострелята,— молвил он.— Вы бы чем бездельничать, лучше б помогли мне скамейки покрасить и зал прибрать...

И в период буйного цветения, когда благоухали сады и исходила накипью сирень, начинался в летнем кинотеатре праздник первого фильма. Мы еще за день с утра помогали Ахмету расклеить афиши, обегали близлежащие дома, оповещая о предстоящей картине. Зная только название, гадали, какие события произойдут в ней.

На фильмы тогда ходили семьями, шли как на праздник, но мы, дворовые пацаны, считали ззорным и плохим тоном для себя — идти вместе с родителями, и если даже фильм был не «до шестнадцати лет», все равно карабкались на могучие стволы и ветви дубов, окружавших летний кинозал. Да я вообще не помню, чтобы кто-либо из нас, мальчишек, покупал билеты. Их брали те, кто был возрастом постарше или же впервые приглашал девчонку. Эти ребята, да и девчонки тоже, еще недавно так же, как и мы, сидели на скрученных ветвях деревьев. Но сейчас они с важными лицами покупали своим смущенным особам синенькие билетки и, глядя на нас, небрежно цедили сквозь зубы:

— Щеглы!..

Мы на это отвечали улюлюканьем и свистом, и этот гвалт продолжался, пока они с красными напряженными лицами не садились где-нибудь в глубине, подальше от наших наглых взоров. Это был своеобразный ритуал проводов нашего старшего собрата из детства в юность.

Ахмет, как нам казалось, не замечал или делал вид, что не замечает нашу бесплатную галерку, но два раза в сезон: в День Победы, когда он надевал свой единственный бостоновый костюм с двумя медалями, и в День защиты детей — этот старый киномеханик, пропустив всех билетных зрителей, галантно распахивал решетчатую калитку:

— Ну-ка, пострелята, прошу! Сегодня для вас вход свободный.

И мы стайкой птиц слетали с деревьев и шумно усаживались на скамейки, не обращая внимания на негодующих и возмущенных зрителей. И когда проекционный луч впивался в экран, зал затихал. Зрителей и нас, мальчишек, обвораживала необъяснимая сила кино.

III

Однажды, когда я поудобнее устроился на морщинистом суку, оттеснив тем самым своего друга Анвара к развилке ствола, крутили какую-то заграничную ленту. Люди жили у моря, ловили рыбу. И когда рыбаков начало относить штормом в открытое море, вдруг погас луч аппарата. Это было неожиданным, ибо Ахмет всегда честно исполнял свои обязанности и ему никогда не кричали зрители: «Сапожник!» Несколько мгновений зал молчал, затем зрители начали оборачиваться в сторону кинобудки, глядя на маленькое окошко. Поднялся небольшой гул, но вновь появился волшебный луч, и все успокоилось.

И никто не подозревал, что творилось в будке киномеханика. Трое пьяных парней ворвались к Ахмету. Один из них, в красной ковбойке, схватил его за плечо и, дыша перегаром, потребовал:

— Слушай, папаша, мы опоздали к началу сеанса. Ну-ка крути по-новой,— и выключил кинопередвижку.

Ахмет хладнокровно вновь включил аппарат, повернулся к парням и хмуро ответил:

— Знаете что, ребята... выпили, ну, и идите по домам.

— Ах ты, фраер!.. Рашид, объясни-ка ему...

Тяжелый удар сшиб старика.

— Не будешь, говоришь? Что ж, мы сами твое кино покрутим,— рычал обкуренный парень в ковбойке.— Оттащите его...

Ахмет, пошатываясь, встал и, пересилив боль, шептал разбитыми губами:

— Нет... нет... нет!

— А ты, оказывается, крепкий одуванчик. А это как тебе?..

В последнее мгновение Ахмет почувствовал, как что-то холодное и острое резко вошло в левый бок. Ухнув, он навалился на проектор, киноплёнка разорвалась, кровь брызнула на линзы, и они, увеличив ее, выплеснули эту кровь пожилого человека на матерчатый экран.

Люди вскочили. Тишину разорвал пронзительный крик:

— Ахмета убили!!!

Я, разодрав штанину, слетел с дерева. Будка была полна народа. «Скорая помощь» и милиция приехали одновременно. Безжизненное тело киномеханика свисало с все еще стрекочущего агрегата. Кто-то выключил его. Это был последний киносеанс Ахмета. Врачи положили его на носилки и накрыли простыней. Люди в мертвом молчании проводили карету «Скорой помощи», они все еще были оглушены произошедшим. Вдруг из оцепенения всех вывел плачущий голос Лехи:

— Они вот туда побежали, я видел — все трое туда побежали, дядя милиционер,— кричал он, показывая в сторону паркового пруда.

— Молчи! Ничего ты не видел,— испуганно прижала Леху мать.— О, горе ты мое! Убьют же тебя... Он ничего не видел, товарищ милиционер.

— Нет! Видел! Видел! Видел! — иступленно орал Леха.— Они там, в кустах.

— О, господи!..— взмолилась мать.

Но ее никто не слушал, все побежали в сторону пруда. И мы, прячась от родителей, рванули туда, испуганно шарахаясь по темным кустам.

IV

Преступников поймали. Я никогда не видел фашистов, разве что в фильмах, которые показывал нам дядя Ахмет, но когда той ночью их провели мимо меня, двена-

дцатилетнего мальчугана, мне показалось, что это они и есть — фашисты и изверги. И сейчас, через много лет, я убеждаюсь в этом.

Летний кинотеатр после той страшной ночи осиротел. Люди подходили к пустому афишному стенду и, вздохнув, удалялись, оглядываясь на пустующие скамьи. Ахмета хоронил весь наш район. Мы, мальчишки из близлежащих дворов, несли поочередно атласную подушечку с двумя медалями и с каким-то значком. Когда нес я, успел прочесть надписи: «За отвагу», «За освоение целинных земель», «Отличник кинофикации СССР».

А через месяц появился новый киномеханик — молодой парень. И вновь начались сеансы в летнем кинотеатре. Казалось, что все забылось, но чья-то рука на афишах после надписи «В летнем кинотеатре» дописывала два слова — «имени Ахмета». Со временем народ привык к этой надписи, и все люди звали с тех пор этот летний кинозал Ахметовским кинотеатром.

Жизнь продолжалась. Продолжались и фильмы в летнем кинотеатре — с весны до поздней осени. На многие фильмы ходил и я, но уже покупал синенький лепесток входного билета. Мое детство кончилось.

V

К югу от города, ближе к предгорным холмам, расположено старое кладбище нашего района. В левом заброшенном углу среди увядающих яблонь есть небольшая каменная плита. На ней высечено арабской вязью «АхметАсан-улы». День рожденья и дата гибели. Если увидишь ее — не пройди мимо. Возложи на плиту букетик диких цветов, благо их много растет по углам этого старого заброшенного кладбища. Возложи — здесь похоронен человек из моего детства.



Леонид Иванов
(г. Тюмень)



ГОСТЕВАЛИ

Степан в глубокой задумчивости сидел на отполированной штанами односельчан широкой лавке у палисадника и невидящими глазами смотрел себе под ноги. Вот уже второй день после того, как улетели куда-то в звездные дали его неожиданные гости-инопланетяне, на душе было пасмурно и тоскливо. С тяжелым вздохом Степан вдавил в сырую землю окурок, встал, привычно придерживая правой рукой большую поясницу, прошел в дом, взял с подоконника початую бутылку водки, долго вертел ее так и сяк, потом опять с глубоким вздохом поставил обратно.

Надо было хоть как-то развеять накопившую тоску, но пить больше не хотелось.

— Заговорили, что ли? — подумал лениво. — Наверное, я им трезвый нужен для серьезного разговора. Ведь обещали же, что вернуться. Может, и с собой заберут? Хорошо бы вместе с Дарьей, а то куда я там один среди чужих-то? А какое хоть сегодня число-то?

Покрутил ручку радио, но оно молчало.

— А-а-а! Дак ведь я же провода оборвал, чтобы взлетать тарелке не мешали, — вспомнил вдруг причину молчания черного обормота, как он называл приемник, который бормотал что-то малоразборчивое с шести утра и до полуночи с часовым перерывом на обед. — Пойти что ли натянуть провода-то? Только когда гости прилетят, опять ведь мешать станут. А число можно узнать у Захаровны. А того проще пересчитать пустые бутылки.

Степан точно помнил, что когда картошка была выкопана, по настоянию районных врачей его Дарья уехала в санаторий на 21 день по горячей путевке, за которую и доплатить-то пришлось всего ничего. Он тогда на вырученные от продажи картошки деньги сразу взял у Зинаиды ящик водки. Подумал, и добавил еще две бутылки. Одна — на день отъезда, вторая — чтобы аккуратно хватило на время пребывания жены в санатории. Не ради пьянства, тоску заливать. Да и то — за все годы семейной жизни это была первая столь продолжительная разлука.

За коровой с теленком взялась ухаживать Захаровна, потому что мужиков Красава не любила и даже хозяина к себе близко не подпускала. Бывало, он обряжал ее, выносил приготовленное Дарьей, когда та страдала поясницей, ведро поила, но доить даже не пытался. Да если бы и подпустила к вымени такая ласковая с хозяйкой корова, ему бы не высидеть было вприсядку столько времени. Так что от всех хозяйственных забот Степан был избавлен и мог пьянствовать без оглядки на какие-то дела.

Степан вышел в сени, пересчитал в ящике пустую тару, среди которой одна бутылка была не распечатана. Шести штук не хватало, не было тары и под лавкой в доме.

— Неужели гости с собой забрали? — недовольно подумал вдруг, разочаровываясь в пришельцах. А может, по привычке заначку где сделал, припрятал куда? Только

от ково прятать? От себя разве што. И какое же севодни число-то? — напрягал память Степан.— Того и гляди Дарья со дня на день вернется, надо бы хоть в избе немного прибраться.

— Эй, Степан! Ты живой? — раздался с улицы голос.

— Во, Иван пришел,— обрадовался приятелю Степан и пошел встречать гостя.

Сели на лавку, закурили.

— Ты пошто у Захаровны провода-то обрезал? — спросил Иван.— Пришла седни ко мне, грит, посмотри там, радивашто-то второй день молчит. Степана хотела просить, да пьет, окаянный, без просыпу с того самого дня, как Дарья в санаторию уехала. Пришел, гляжу, а тут все провода обрезаны. Чо это ты разбушевался-то?

— Провода им взлететь мешали, вот и пришлось отрезать,— пояснил Степан.

— Кому им? — недоуменно поинтересовался Иван, не понимая, о ком идет речь.

— Да этим... Инопланетянам-то.

— Ты, Степан, с перепоя-то не того? — повертел у виска.

— Да нет, все нормально. Они меня даже от пьянки заговорили.

— Может тебе похмелиться надо, чтобы в сознание прийти. Эть не мудрено и рассудка лишиться — две недели гулеванил.

— Да не гулеванил я, тоску заливал. А тут они в гости заявили. Вот оттуда в своей тарелке почти прямо на грядки юзнули.— Степан показал в сторону бани.— Я тут на лавке сижую, курю, гляжу, тарелка какая-то большая, вжик и села. Лежит прямо на земле этакая гладкая вся, сверкает, хоть и солнца нету.

— Большая?

— Да с баню, поди. Только сплюснутая. Ну, будто две тарелки одна на другую положены. Дарья у миня их так складывает, когда блины остаются, чтобы не засохли.

— И чо?

— Чо, чо? Нетерпеливый ты какой-то, Иван! Смотрю, лаз такой навроде трапа открывается, и на землю как с горки мужик съезжает. Стройный такой и весь будто в рыбьей чешуе. Тоже блестящий-блестящий. Походит, здоровкается.

— По нашему здоровкается-та?

— Конечно, по-нашему. Я по-иностранному-то бы и не понял. Ну, я отвечаю тоже, мол, будьте здоровы да милости просим. Он што-то булькнул, и снова лаз открывается, и ишшо один мужик на землю съезжает.

— Да ты пошто знаешь, што мужик-то?

— Дакэть причиндалы то выпирают, коли одежда в обтяжку.

— Ну, ну, дальше давай. Ты не струхнул?

— А чо тут бояться-то? Они же не с ружьями ко мне пришли. Голос этакий добрый. Ну, я сижую, ошалел, конешно, чо-то и мысли никакие в голову не идут. Опосля уже подумал, а какого лешего им от меня надо-то? Может, заблудились, дорогу узнать хочут. А первый снова чо-то булькнул, и опять лаз открывается, и ишшо двое на землю ступают. Смотрю, эти, вроде, девки, потому как выпирает не в паху, а там, где надо. Ну, я сообразил, что не гоже гостей на улице держать, в дом пригласил, пока они избу осматривали да фотки на стене разглядывали, я самовар поставил. Ты же знаешь, он у нас быстро кипит. И поговорить как следует не успели, он уж и зафыркал. Ну, я чай заварил, чашки на стол, там пряники ишшо были. Хоть и черствые, но, думаю, все одно потчевать-то больше нечем. Проголодались, дак и это сойдет.

Ну, мужики они мужики и есть. Эти сразу за ружье. Вертят его так и этак, смотрю, разобрались, што к чему, цевье отстегнули, стволы от приклада отсоединили, проверяют, чищено ли. Но ты же знаешь, што я ружье всегда в порядке держу. Посмотрели, собрали, похвалили, спрашивают, для чего оно. Говорю, на охоту ходить. Спрашивают, как оно действует, взял патроны, позвал на улицу, как жажнул, они аж присели. Я — из второго ствола. Уже нормально среагировали.

— Да что тебе, Ванька, понятно-то? Они тоже потом по разу пальнули. А девки хоть бы што! Даже на улицу не вышли посмотреть, откуда гром среди ясного неба.

— Да что тебе, Ванька, понятно-то? Они тоже потом по разу пальнули. А девки хоть бы што! Даже на улицу не вышли посмотреть, откуда гром среди ясного неба.

— Ну, небо-то, положим, не такое уж и ясное было. Дожди вон сколько ден не перестают. Льет и льет с небольшими перерывами.

— Да ладно тебе! — отмахнулся Степан. — Не интересно, дак так и скажи. Я пойду печку затоплю, а то сыро в доме-то и холодно.

— Да не обижайся ты, я просто так, для себя уточнил. А бабы-то што?

— А бабы они бабы и есть! Хоть наши, хоть с какой звезды или ишшо откуда. Эти на кухне ухваты да чугушки разглядывают, самовар изучают, понять не могут, почему он горячий стал и паром пыхает. Потом одна в горнице за занавеской Дарьин полушубок увидела. Крутила его и так и сяк, спрашивает, зачем это? Ну, я, знамо дело, объяснил, что у нас скоро зима наступит, мороз будет, а чтобы не замерзнуть, из овечьей шкуры люди себе вот такие одежки шьют. Она на своем костюме што-то нажала, и вся чешуя враз на пол к ногам свалилась. Я аж ошалел. Стоит голехонька, только титьки сверкают.

— Ну-ка, ну-ка, как они, инопланетянки-то? — оживился Иван.

— А такие же, как и наши. Только стройные, а титьки совсем малюхонькие и промеж ног, как у ребенка, чисто. Может, не растет, может, бреют. И, главно дело, не стесняются нисколько ни меня, ни своих. Накинула полушубок на голое тело, перед трюмо вертится, хохочут обеи. Потом другая свою чешую сбросила, тоже полушубок примерять стала. Я ишшо шаль подал, показал, как вязывать. Ой, ну у их и смеху было! И я аж до слез хохотал! Ну, потом оне полушубок на место повесили, свою чешую натянули, за стол сели. Я чаю налил, потом думаю, не по-людски как-то получается, гости в доме, а вина нету. Принес бутылку, налил мужикам по полстакана, вспомнил, что у миня «шампанское» припасено к Дарьиному приезду, чтобы ей праздник устроить, с возвращеньцем, значит, поздравить. Ай, думаю, Дарье-то я другую куплю, а эту девкам выпою. Поди, не каждый день «шампанским-то» их потчуют.

Девки-то сразу захмелели, хохочут и хохочут. Ну, совсем как наши бабы, когда напьются. Думаю, ну, сейчас, как наши, после смеха-то плакать начнут. А нет, так пока за столом сидели, все хохотали да хохотали. Ну, мы с одним мужиком тоже приняли, второй отказался, верно, за рулем был. Ответственный! А то с пьяну-то да на их скоростях не мудрено куда угодно забуриться.

Вот, посидели мы, значит, поговорили про житье-бытье, они собираться стали. Мол, спасибо тебе, добрый человек, очень тронуты твоим гостеприимством. Скоро снова заедем. Может, и с собой возьмем. Ну, я и брякни, мол, одному-то мне у вас, поди, скучновато будет, особливо, ежели у вас там радива нету. Поеду, если и Дарью мою тоже возьмете. Она скоро из санатории вернуться должна. Да, говорят, не проблема. Можешь ишшо хоть ково из вашей деревни взять. Иван, может вмистях махнем погостить?

— А обратно как?

— Дакить, отправят, поди, на попутках. А ежели и там оставят, дак чо нам тут терять-то?

— Не скажи! — возразил Иван. — Дома тут, вон дров на две зимы заготовлено, картошки целый погреб, грибов насолили. Да и родители опять же тут похоронены. Кто за могилками-то ухаживать станет? И главно, ты хоть спросил у них, а там водка-то есть?

— Не спросил, — виновато согласился Степан. — Да и зачем она. Вон у меня с их гостевания стоит недопитая. Ежели будешь, налью.

— А сам будешь? — радостно спросил Иван.

— Не хочу чо-то,— горестно промолвил Степан.— Наговор што ли какой сделали. Поди, я им тут тверезый нужен, как дежурный по аэродрому. Вдруг там опять провода какие мешать будут, как я в пьяном-то виде на столб полезу?

— Дак вот, провода-то ты нахрена у Захаровны отрезал?

— Дак я тебе талдычу, талдычу, что они им взлетать мешали. Они со стороны бани на огород-то юзнули, а, видно, обратного хода у тарелки нету, взлетать по прямой надо. А тут наши с Захаровной провода висят. Вот я и обрезал.

— Степан, а ты может и вправду с перепоя-то немного того, свихнулся чуток? Говорят, это бывает, белая горячка называется?

— Да пошел ты! — разозлился Степан на Ивановы подозрения в его ненормальности.— Знаешь ить, што у миня ухо с тово года текет. Дак эть выздоровело! И поясницу боле не ломит. Вот! Только пожалился, вылечили махом. Вот бы врачам из больнички у их так научиться! Да што болячки, не у тибя болело, не поверишь. Ты вон на огороде-то посмотри, до сих пор след от ихней тарелки остался.

Степан потащил Ивана за дом, где на картофельном поле действительно была будто вдавленная инородным телом круглая вмятина. То ли от огромной созданной прошедшими ливнями лужи, уже впитавшейся в землю, то ли на самом деле от какой-то летающей тарелки.

Иван долго смотрел на это пятно, сдвигал на лоб кепку, чесал в затылке, потом пожал плечами и начал пятиться назад.

— Видел? — строго спросил Степан.— То-то! А то свихнулся, свихнулся... Вы ишшо миня на смех поднимите, мол, Степан допился до того, что инопланетяне привиделись. Пойдем в дом, я тебе их подарок покажу.

Мужики зашли в дом, Степан взял с комода и подал гостю какую-то эллипсоидной формы хорошо отполированную стекляшку. Тот с опаской взял в руки невиданную штуковину, повертел и сунул обратно.

— Может она излучает што?

— А хрен его знает! — Согласился Степан.— Может и излучает. И, главно дело, не помню, когда они мне эту штуковину подарили. Утром проснулся, смотрю, лежит на столе рядом со стаканом, от которого гость отказался. Может сто грамм налить?

— Знаешь, Степан, не по себе что-то. В другой раз, если достоин.

— Да достоин, я ведь теперича тоже не хочу. Вот смотрю на бутылку, а не хочется.

Мужики вышли на улицу, сели снова на лавку, молча закурили, погрузившись в размышления о невиданных чудесах. Потом Иван поднялся:

— Пойду, я Степан. Захаровне скажу, что провода мы с тобой завтрава натянем.

— Ладно, Иван, ты иди, а я пока на лавке посижу. Может, они на обратном пути ишшо заедут. Обещшали же... Я их ничем не обидел. Чо бы и не заехать?



Николай Макаров
(г. Тула)



НАШИ ЖЕНЩИНЫ В АФГАНИСТАНЕ

Наши постоянный автор, член Союза писателей России, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» имени Н. С. Лескова, лауреат литературной премии Правительства Тульской области имени Л. Н. Толстого, лауреат премии им. С. И. Мосина.

ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ

Блохина (Гусева) Светлана Дмитриевна, родилась 22.04.1957 в Туле

Перед Светланой Гусевой — медицинской сестрой и комсомольским вожаком МСЧ № 2 — открывались громадные перспективы комсомольско-партийной карьеры: Высшая комсомольская школа, Высшая партийная школа и... далее — везде.

Однако, мы — в том числе и Светлана — только предполагаем, а на верху (на любом верху, понятное дело) располагают. И когда пришла в медсанчасть разрядка на одну медсестру для работы в госпиталях Афганистана, то лучшей кандидатуры, чем Гусева, было не найти. Квалифицированная медицинская сестра хирургического отделения; лидер молодежи Косой Горы, каждый год участвующая с трудными подростками в авто-мотопробеге по местам боев Великой Отечественной войны; народная дружинница — гроза хулиганов и дебоширов поселка; депутат поселкового и городского Советов народных депутатов; да что там перечислять — просто хороший, душевный человек, Комсомолка, одним словом, с большой буквы.

— А если я откажусь? — в шутку спросила она, протягивая повестку в военкомате.

...В Афганистане, ожидая в Центральном военном госпитале отправки в Кундуз на постоянное место работы, она вдруг — всего через полчаса после прибытия — срочно была востребована в хирургическое отделение. Не нашлось среди вновь прибывших медицинских сестер человека с ее опытом работы хирургической медицинской сестры. Только и спросили:

— Капельницы ставить умеешь?

На утвердительный кивок сразу последовало продолжение старшей медсестры, уходящей на пятиминутку:

— Вот — раненые. Первая задача — сними капельницы.

Медсестра Гусева не только сняла капельницы, но и выполнила все остальные процедуры, расписанные на каждого пациента: уколы, таблетки-микстуры, перевяз-

ки, ласковое слово, в конце концов. Как известно, пятиминутки порой затягиваются на час и более. В нашем случае, увидя проделанную работу, старшая только лаконично бросила:

— В ночь заступаешь на дежурство.

Так два года и дежурила, вернее, работала Светлана Гусева палатно-процедурной медицинской сестрой 1-го хирургического отделения 650-го военного госпиталя в Афганистане.

Воспоминания медицинской сестры Светланы Гусевой:

«...В нашем отделении находилось до 100—120 раненых, в послеоперационной палате — 20 человек. За сутки приходилось ставить до 30—40 капельниц плюс — уколы и другие процедуры. Помощники — солдаты из команды выздоравливающих.

Самое ужасное с нами происходило после дежурства: приходишь в свой закуток, и слезы сами катятся по щекам — два-три летальных случая за сутки. В нашем отделении не только хирургические больные находились, не только раненые хирургического профиля, но и урологические, и нейрохирургические — всем приходилось оказывать помощь. Даже инфекционные больные лечились: удалили у солдата аппендицит, а перед самой выпиской — температура за сорок — малярия.

Да, честно говоря, и бытовые условия оставляли желать лучшего. Душевая для женщин работала только два дня: вторник и пятница. Если в эти дни случалось дежурство, то с душем — в банальном пролете.

Электрический свет выключали в шесть вечера — комендантский час; только реанимационная и операционная освещались. Из Союза, наряду с другими вещами и продуктами, везли свечи и канцелярский клей. Если свечи — понятно, для освещения после комендантского часа, то клей — для наклейки анализов в истории болезней.

Тем не менее, с ностальгической грустью вспоминаются те, афганские тяжелые дни и ночи...».

Стоп, стоп, стоп...

А четыре литра донорской крови, сданной раненым солдатам и офицерам, два случая из которых — прямым переливанием. А бессонные ночи в палатах этих раненых. А... далее — везде...

Краткая биографическая справка:

— 1978 год — окончание Тульского областного медицинского училища;

— 1978—1982 годы — медицинская сестра хирургических отделений Тульской областной больницы и Медико-санитарной части № 2;

— 25.03.1982 — 08.04.1984 — служащая Советской Армии в Афганистане (палатно-процедурная сестра);

— с 1984 года — медицинская сестра МСЧ № 2;

— с 1910 года — на заслуженном отдыхе.

НЕОБЫЧНАЯ БИОГРАФИЯ

Дюкова Людмила Николаевна, родилась 23.03.1945 в Нойхаузском концентрационном лагере в Германии

Прочитал в альбоме «Музея военной истории Тульского края» «Время выбрало нас» о Людмиле Дюковой первую строчку: «Биография Людмилы Николаевны Дюковой похожа на биографии многих девушек той поры...» и...

Ничего подобного — биография Дюковой абсолютно не похожа на большинство

биографий девушек той поры. Мало того — ее биография уникальная, хотя, может быть и не единственная в своем роде на всю тогдашнюю страну, на весь наш Союз Советских Социалистических Республик. Нет, может быть с определенного возраста ее биография и похожа на другие биографии — не отрицаю, но вот дата и место рождения у нее просто поразительные, в здравый смысл укладывающиеся с трудом. Родилась она...

Из рассказа Людмилы Дюковой.

«...Маму мою, как и многих девушек из Житомирского детского дома, с первых дней Войны угнали на работы в Германию. Отца угнали в сорок третьем, перед началом Курской битвы и поселили в тот же концлагерь — в гражданских концлагерях, по рассказам родителей, по крайней мере, в их лагере, мужчины и женщины жили вместе, правда, в разных бараках. С отцом же вышла совсем невероятная история. Он служил на одном из кораблей Балтийского флота в Кронштадте и в сорок первом году, попав под бомбежку, был тяжело ранен и сильно контужен. За ним, получив письмо от командира корабля, приехала бабушка и, как рассказывал отец, увезла его умирать в родную деревню под Орлом. Но деревенский климат, парное молоко, а главное, домашний уход, сделали чудо — отец выжил, но был по состоянию здоровья вчистую комиссован из Красной Армии. В сорок третьем, перед самым началом Курской битвы, все население их деревни было угнано в Германию и размещено в том лагере, где находилась и, сама того не подозревая, будущая моя мама. В этом лагере я и родилась. После войны, когда нас освободили, отца оставили в Германии, и он почти год занимался вывозом трофейного имущества и оборудования с германских заводов. Эта его тогдашняя работа и спасла семью от репрессий после войны — единственная семья на всю нашу деревню не побывала в советских лагерях и никуда не была сослана. А я оказалась самым молодым (!!!) узником Советского Союза, кто родился в концентрационных лагерях. Приехав из Германии, отца назначили в одно из лесничеств в Калужской области, а вскоре мы переехали в Белев. В Белеве, после семилетки, в 1962 году окончила медицинское училище и по распределению отработала пять лет в Киреевске, а с 1967 года по настоящее время работаю в седьмой медсанчасти...».

Все правильно: работала и продолжает работать в седьмой медсанчасти с небольшим перерывом в два года и один месяц, которые Людмила...

Продолжение рассказа Людмилы Дюковой.

«...Пришла в военкомат, написала заявление, что желаю работать по специальности в Группе Советских войск в Германии, но мне в военкомате прямо ответили — помнишь, какое время тогда было? — что с моей биографией ни в Германию, ни в Чехословакию, ни в какие другие Европы путь закрыт на семь и более замков. Я, по недомыслию, пыталась выяснить причину, а мне опять прямо ответили, что у меня могут остаться какие-то связи с сорок пятого года в Германии. Хоть плачь, хоть смейся — какие связи у грудного ребенка? Правда, мне предложили альтернативный вариант: хочешь заграничной романтики — поезжай в Афганистан...».

Так в августе 1982 года Людмила Дюкова оказалась в Афганистане в Баграмском медсанбате, полевая почта 93982, на должности медицинской сестры оперативно-перевязочного взвода медицинской роты.

Продолжение рассказа Людмилы Дюковой.

«...Полгода не могла без слез, без рыданий навзрыд смотреть на раненых и погибших. Ничего не могла поделать с собой, никак не могла привыкнуть к таким ужасам Афганской войны. Узнав о моем состоянии, меня однажды вызвал к себе командир дивизии и предложил создать в медсанбате коллектив художественной самодеятельности. Естественно, не отказалась, и стали мы давать концерты не

только перед больными и ранеными, но и в боевых частях дивизии. И перед афганскими частями выступали. Надо было видеть лица бойцов на наших концертах — такие лица я видела в кинохрониках военных лет, когда на передовой пела Клавдия Шульженко...».

В сентябре 1984 года, вернувшись из командировки, Людмила пошла в военкомат с просьбой о предоставлении квартиры, которую ей перед отправкой в Афганистан обещали.

Продолжение рассказа Людмилы Дюковой.

«...Помнишь стихотворение Маяковского о Советском паспорте, где в международном вагоне проверяют документы «...глядит в полицейской слоновости — откуда, мол, эти географические новости?..». Так и на меня посмотрел военный чиновник в военкомате, заметив при этом, что, дескать, приехала из Афганистана с деньгами — вот и найди мужика себе с квартирой. Так обидно стало, что в тот же вечер написала письмо в Партийную комиссию при ЦК КПСС. Через месяц мне вручили ордер на квартиру. Боялись, боялись в то время чиновники потерять свой партийный билет, что означало автоматическое отлучение от государственных «кормушек». Не то, что сейчас — ничего не боятся нынешние чинуши и чинушки...».

Да, Бог с ними, с этими нынешними зажавшимися в своей безпредельщине чинами и чинушами — страна-то держится не на них, а Страна, наша Страна, наша, надеюсь в скором времени, и Держава, держится и будет держаться на таких, как Людмила Дюкова, на нас с вами.

Честь и Слава ей, простой русской женщине с обычной биографией...

СТРАШНОЕ ЛЕТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО

*Иванова Екатерина Ильинична, родилась
05.06.1951 в Пскове*

— Самое страшное воспоминание об Афганистане — лето восемьдесят четвертого года, — разливая кофе, начала свой краткий экскурс в прошлое гвардии прапорщик медицинской службы в отставке. — После очередной боевой операции — не помню, как она называлась — в медсанбат пошел сплошной поток раненых разной степени тяжести. Оперировали день и ночь. На помощь нашим хирургам и медсестрам пришло усиление из Центрального госпиталя Кабула.

Она передернула плечами, чуть не разлив кипяток на ажурную скатерть.

— Альтернатива, надеюсь, имеется неприятным воспоминаниям?

— А, то ж! Наша художественная самодеятельность — выступали на всех праздничных мероприятиях не только перед личным составом, но и перед больными и ранеными.

Екатерина, пододвинув мне вазу с конфетами и печеньем, продолжала.

— Приезжали артисты из Союза: Кобзон, Леонтьев, Чурсина, другие артисты. Раз, помню, где-то недалеко в горах завязался бой — слышны были разрывы мин и автоматная стрельба — так, наши очередные гости, испугавшись, накрылись матрасами. Как будто при настоящем обстреле — тьфу, тьфу, ни разу такого «безобразия» не наблюдалось — эта, так называемая защита, попади, не дай Бог, мина или снаряд, спасла бы их. Мы их успокаивали, дескать, бой идет далеко; просто — здесь эхо такое. Смех и грех, одним словом.

За то страшное лето восемьдесят четвертого старшая операционная медицинская сестра Катя Иванова была награждена медалью «За трудовое отличие».

Краткая биографическая справка:

- 1968 год — окончание средней школы;
- 1970 год — окончание Псковского медицинского училища;
- в 1970—1983 годах — служба на различных должностях в медсанбате 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии (Псков);
- в 1983—1985 годах — старшая медицинская сестра медицинской роты медсанбата 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 60-летия СССР (Кабул);
- с 1968 года — фельдшер здравпункта НПО «Стрела» (Тула);
- награждена медалью «За трудовое отличие» (1984), другими медалями.

НАТАША ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Ничуговская (Чебакова) Наталья Васильевна, родилась 10.04.1961 в поселке Рождественском Ленинского района Тульской области — умерла 12.12.2000 в Чечне, похоронена на кладбище поселка Рождественского

Из воспоминаний Толмачевой Нины Васильевны, первой учительницы Наташи в Волотинской начальной школе Ленинского района Тульской области:

«...В 1968 году Наташа поступила в первый класс Волотинской начальной школы. Классы тогда были небольшие, человек по 12—15. Мы жили очень дружно, вместе были не только на уроках, но и в группе продленного дня, до самого вечера. Вместе и задачи решали, и играли, и тетради проверяли, и читали интересные книги. Наташа училась хорошо. Всегда была в передовых. Опрятная, ухоженная. Ее отличали внимательность, забота о людях и твердый, проявившийся еще в первом классе, характер, какая-то недетская целеустремленность...».

Из воспоминаний Лыженковой Юлии Георгиевны, учительницы Рождественской средней школы Ленинского района Тульской области:

«...Я была классным руководителем Наташи с 5-го по 10-е классы. «Колокольчик» — так я называла ее про себя. У нее был удивительно приятный смех и голос.

Наташа — всегда в заводилах. Очень обаятельная, всегда с гладкой прической, аккуратная, подтянутая, крохотная. Она казалась старше среди других ребят. К ее мнению прислушивались, с ней советовались, ее голос был одним из решающих.

Обладала хорошим чувством юмора, наблюдательностью, умела сглаживать намечающиеся конфликты, приходила на помощь, умела поднять настроение...».

Из воспоминаний Чебаковой Нины Петровны, мамы Наташи:

«...В школе успевала по всем предметам только на «5» и ни одной даже «4».

Аккуратная, собранная. Лицемерить не любила — говорила прямо в глаза, невзирая на лица...

В четвертом классе перешла в Рождественскую среднюю школу. Учась в 9-м классе, Наташа была командиром санитарной дружины, которая заняла 1-е место в районных соревнованиях, а Наташа получила благодарности от районного отделения Красного Креста...».

После окончания средней школы поступила в Тульское медицинское училище. Пять лет работала операционной сестрой в больнице имени Н. А. Семашко (ныне — имени Д. Я. Ванькина).

Из воспоминаний Лыженковой Юлии Георгиевны:

«...Она не любила рассказывать об Афгане. Я даже не знала, что она туда поехала. Только что-то долго не забегает, замечая. Когда узнала, была потрясена. Девчонка, воробышек, колокольчик — и война!

— Все же в порядке, Юлия Георгиевна!» — сказала, когда вернулась,— не нужно об этом.

Изменилась, стала как-то суше, сдержаннее, разом повзрослела, взгляд другой — оценивающий, внимательный. Но все же это была наша Наташа!..».

Из воспоминаний Толмачевой Нины Васильевны:

«...Однажды, уже после возвращения из Афганистана, я встретила ее в автобусе. Она поинтересовалась моим здоровьем, расспросила о знакомых, а о себе как-то неохотно рассказывала. Я обратила внимание, что на лице у нее — большое красное пятно, как след от ожога. Потом ее мама рассказывала, как Наташа в Шинданде во время пожара эвакуировала раненых из госпиталя. Многие были совсем тяжелые, не могли самостоятельно передвигаться. Тогда-то и получила она ожог на лице...».

Из воспоминаний Чебаковой Нины Петровны:

«...Отработав пять лет операционной сестрой, решила поехать в Афганистан. Она уехала туда, несмотря на наши запреты, сказав мне, что едет выполнять интернациональный долг. Долгих два года пробыла она на чужой земле.

Вернувшись из Афганистана, вышла замуж за капитана Н. Б. Ничуговского, и он увез ее в Северокавказский военный округ в город Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Получили там квартиру. Она вначале не работала. Потом поступила в госпиталь операционной сестрой.

В 1990 году попала под сокращение, год не работала, потом была призвана на военную службу...».

В 1991 году призвана на военную службу. Работала в Чечне. Спасая раненого, потерявшего много крови, одела его в свой бушлат, а сама четыре часа раздетая спускала его с горы. Простудилась и от пневмонии умерла.

В поселке Рождественском на доме № 2 по улице Федорова висит мемориальная табличка в память о Наталье Ничуговской, в школе в Зале Защитников Отечества оформлен о ней стенд.

АФГАНСКИЕ ПИСЬМА

Полякова (Алешичева) Элла Львовна, родилась 13.10.1964 в Туле — умерла 20.06.2006 в Туле

Дней через десять после показа по Тульскому телевидению сюжета о третьем выпуске книги-альбома «Мои афганцы» раздается телефонный звонок с телестудии. Звонит корреспондент Сергей Митрофанов, бравший у меня интервью. Из разговора с ним выясняется, что меня все это время, прошедшее с показа сюжета, разыскивает женщина, у которой в Афганистане два года работала медицинской сестрой племянница. Сергей диктует мне телефон Зои Петровны и... Зоя Петровна оказывается моей давнишней знакомой. Договариваемся о встрече с ней и с отцом Эли Поляковой, к сожалению, безвременно умершей.

— Как мы ее только не отговаривали,— вспоминает Лев Павлович, украдкой промокая глаза,— как ни уговаривали отказать от затеи поездки в Афганистан. Я ей приводил, казалось, три убедительных причины, по которым ехать туда категорически опасно. Во-первых, там элементарно могли убить; во-вторых, запредельная

концентрация мужиков, со всеми отсюда вытекающими последствиями; в-третьих, смертельные инфекционные болезни. Ни уговоры, ни доводы, наконец, ни слезы матери — ничего не помогло. И если первые две причины ее благополучно миновали, то третья... За полгода переболела и брюшным тифом, и гепатитом, и малярией, но не вернулась досрочно, а отслужила весь контрактный срок.

— Через год, — настал черед вспоминать тете, Зое Петровне, — приезжает Элка в отпуск с огромным, неподъемным чемоданом. Думаете, барахло привезла? Книги, одни книги перла из Афганистана. Что рассказывала? Пару-тройку случаев. И все какие-то происшествия у нее, на первый взгляд, смешные, юморные. На первый взгляд. Ну, например, как их почти весь личный состав медроты повар спас от неминуемой гибели, по каким-то причинам задержав ужин на полтора-два часа, тем самым отсрочив показ в клубе кинофильма. И в это отсроченное время «духи» прямым попаданием накрыли клуб — никто не пострадал. Или, как они весь день пеки раненым солдатам блины: только разогреют сковороду, только «первый блин выйдет комом», как привозят раненых и так несколько раз в этот злополучный день. А блины медсестры все-таки испекли для своих подопечных — только поздно вечером.

Краткая биографическая справка.

После окончания в 1982 году Тульского медицинского училища работала медицинской сестрой на станции «Скорой помощи». С декабря 1985 года по декабрь 1987 года работала медицинской сестрой в медицинской роте 860-го отдельного мотострелкового полка, дислоцировавшегося в городе Файзабаде, Афганистан. В 1997 году окончила Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова, работала в отделении патологии новорожденных 1-ой Тульской городской больницы.

Двое детей: Настя — 21 год, Ксения — 13 лет.

За два года, что Элла Полякова провела в Афганистане, она получила почти полтысячи писем и столько же написала сама. Отрывки из некоторых Эллиных писем, любезно представленных мне отцом, с небольшими сокращениями и исправлениями выношу на суд читателя.

«ДРА, г. Файзабад, 7.06.86 г.

...А знаете, вчера нам с Файзабада привезли тяжелые роды; уже не было надежды, что малыши родятся живым. Но всем смертям назло родилась такая хорошенькая девочка: глазки черненькие, как пуговики. Пицала потом целый день; берешь ее на руки — молчит, а лежать на кровати одна не хочет. Такое чудо, наверное, самое прекрасное в нашей жизни. Трудно описать те чувства, которые охватывают, когда держишь на руках теплый, живой комочек. Это же — наши советские медики подарили жизнь человеку. Сегодня их уже отправили домой...».

«ДРА, г. Файзабад, 16.07.86 г.

...Вчера все вместе читали газету «Фрунзенец» об операции в ущелье Пардудж, там рядом наша точка Бахарак. Весь май наш полк там сидел, столько отдано сил, человеческих жизней. А оказывается, это «зеленые» (народная армия) разгромила банду. Про наших — даже ни слова. Обидно ребятам! «Зеленые» больше мешали, чем помогали...».

«30.03.87 г.

...А папочка должен дать мне слово, что не будет так переживать из-за работы. Ведь от того, что ты рвешь свои нервы, ничего не изменится. А здоровье надо беречь. Сходи, пожалуйста, в поликлинику и сделай флюорографию. Хорошо? Дайте мне слово, следить за своим здоровьем и не обижать друг друга.

У меня все хорошо. Вчера уже отработала первую смену. Работы сейчас много. Вчера все вернулись с боевых. Вечером собрались попить чаю. Погода стоит плохая, холодно, дождь. Я хожу в сером костюме. Все прямо завалили меня комплиментами. Вертушек давно не было, сидим без солярки, а значит — и без света. Но это — ерунда.

Ходила к моим мальчишкам. Они окружили меня: наперебой рассказывают новости. Просидела с ними весь вечер. К нам пришли молодые солдаты. Они входят, ребята им говорят: «Идите сюда, познакомьтесь. Мамочка приехала!».

Вот какие они, у меня дети. Вчера пришли с боевых, знаете, какая там была война? Всем нашим ребятам начмед написал наградные «За отвагу». Вот такие они: и дети, и герои!..».

«23.04.87 г.

...Сейчас у нас в отделении лежит афганец — губернатор города, такой интеллигентный, очень хорошо говорит по-русски. Уколы только мне дает делать, как увидит на улице, зовет, или ждет, когда приду на смену. Видите, как уважают...».

«28.05.87 г.

...Вчера у нас был такой хороший день. Сначала встречали вертушки, они привозили с операции, которая прошла более-менее удачно, результаты неплохие. Вы даже не представляете, как приятно видеть уставшие, запыленные лица, улыбки. Они все — большие герои. Бой был тяжелый, расстреливали в упор. У нас тоже есть легкораненные, но это ничего — мы их подлечим. Так что все — нормально.

А вчера мы провожали нашего любимого доктора-терапевта домой. Расставаться всегда грустно, а в Афганистане — вдвойне, мы же все здесь как родные.

Вот так я и живу, немного скучаю по вас, а в остальном — все нормально...».

«6.08.87 г.

...Сейчас сижу в реанимации, ночь. Рядом такой мальчишечка хороший — красивый, высокий и без ноги... за что? Почему так жестока жизнь? Ведь ему — 19 лет. Обидно за них, за из жизни, отданные неизвестно за что. Я жива-здоровая, так что за меня не волнуйтесь, все нормально, работы много. Но это — даже хорошо: время бежит быстрее, и чувствуешь, что ты здесь не просто так, что нужна этим мальчишкам, у которых нет рядом мамы, которых некому пожалеть...».

— Ни разу не пожаловалась, — заканчивает нашу встречу Лев Павлович. — Жалко, мало ей было отмеряно на этом свете. Земля ей пухом...

ВМЕСТО ТРЕХ — ПЯТНАДЦАТЬ С ЛИШНИМ МЕСЯЦЕВ

Саратова Ольга Владимировна, родилась 10.12.1959 в селе Николо-Жупань Одоевского района Тульской области

— Как же ты в пятидесятиградусной жаре работала в противочумном костюме? — вспоминая свое эпидемиологическое прошлое, задаю явно провокационный вопрос Ольге Саратовой, медицинской сестре приемного отделения Центрального военного госпиталя ВДВ.

— Да вы — что? Какие противочумные костюмы?

— И то — верно: холерные вибрионы — твари нежные, от любой грязи дохнут.

Моя собеседница рассмеялась.

— Вместо воды пили аскорбинку и соляную кислоту, а из одежды носили то, что и положено носить в такое пекло. Но руки мыли, когда не было воды, чистым спиртом.

— Спиртом — руки? И не пили?

— За других — не скажу, но я не пила.

Краткая биографическая справка:

В 1979 году окончила Тульское медицинское училище по специальности «Сестринское дело». С 1979 по 1983 год работала медицинской сестрой в МСЧ № 1 города Тулы. С 1983 года с перерывами работает в ЦВГ ВДВ.

— Оль, расскажи подробнее про холеру, про Афганистан.

— Четырнадцатого сентября восемьдесят пятого года в госпиталь пришла телеграмма о срочном командировании медсестры и лаборантки в Афганистан, в очаг холеры на три месяца. На следующий день прибыла в окружной СЭО, в Хлебниково.

— Знаю: севернее Москвы — учился там в семьдесят четвертом.

— Представляете: нас в Хлебниково по очереди инструктировали семь генералов. Прилетели в Джелалабад, развернули госпиталь особо опасных инфекций и за десять дней очаг холеры был ликвидирован.

— Как класс, — добавляю я, — много было потерь?

— Умерло всего два солдата в самом начале вспышки.

— Кто же занес эту заразу в наши войска.

— Принесли с «боевых», — душманы заразили арыки в горах.

— Хорошо, ликвидировали холеру и через три месяца — домой?

— Какое там: развернули малярийное отделение, развернули брюшнотифозное отделение, развернули отделение для зараженных амебами, развернули гепатитное отделение, наконец, развернули дифтерийное отделение.

— Кишечные инфекции — понятно, а — дифтерия?

— Дифтерией болели офицеры и работники офицерской столовой. Одна посудомойка «привезла» дифтерию после отпуска из Союза.

— Не знаешь, где соломки подложить.

Лирическое отступление:

В отделении для больных гепатитом находилось на стационарном лечении до 160 больных. Каждый день медсестра брала из вены кровь для анализов у 60 человек. Каждый день медсестра ставила капельницы 35—40 больным. О других процедурах и говорить нечего. Однажды, за день до выписки, к Ольге обращается выздоровевший солдат, которому завтра идти в разведывочный поход в горы, и просит ее, чтобы она вместо его крови взяла кровь «свежего» больного. Получив категорический отказ, этот солдат, подкараулив вечером медсестру, ножом вспарывает ей... Нет, на коже живота осталась лишь царапина — спасла ватная телогрейка.

— В этом-то и дело. Тем более, что вместо трех месяцев мне в Афганистане пришлось пробыть до конца восемьдесят шестого года. Домой попала — двойной, тройной праздник — 1 января 1987 года.

— «Повезло» тебе.

— Точно: «повезло». До сих пор нет записи в личном деле о моей работе в Афганистане. Куда ни обращаюсь — один «футбол».

— Обратись в Городскую организацию ветеранов боевых действий — там имеется свой юрист.

— Обязательно: может, чем помогут. — Немного подумав. — Ой, чуть не забыла: в Афганистане была секретарем комсомольской организации.

— И каждый месяц — комсомольские собрания?

— Не только собрания, но и каждый месяц летала в Кабул в политотдел 40-й армии отчитываться о проделанной работе.

— Война — войной, а отчеты — по порядку.

— Про войну. Джелалабад — это субтропики. Плантация апельсинов за забором. На заборе — огромный плакат на русском языке: «Не рвать! Опасно для жизни!» Двое солдат из бригады, на территории которой располагался наш госпиталь, отойдя на десяток метров от плаката, полезли за фруктами.

— Обстреляли их? — пытаюсь догадаться.

— Подорвались на mine: ступни вдребезги, хорошо остались живы. Спрашивают у них, что, мол, не видели плакат? И знаете, что они отвечают? «Мы думали, что лезть нельзя только под плакатом, а рядом — можно».

— Приехала из Афганистана и что дальше?
— Шесть лет работала на «гражданке»,— она опять заразительно смеется,— а сейчас опять — в родном госпитале.

ПОЦЕЛУЙ МИНИСТРА

*Щербакова Нина Алексеевна, родилась
15.09.1946 в деревне Замятино Киреевско-
го района Тульской области*

В начале девяностых годов прошлого века в Тульский диагностический центр прибыл министр здравоохранения Российской Федерации академик Эдуард Александрович Нечаев. Встретить министра собрался весь медицинский персонал Центра. После обязательного протокольного рукопожатия с руководством, он, неожиданно для всех, быстро подошел к скромно стоявшей не в самом первом ряду миловидной медицинской сестре, привлек ее, обнял и на виду у всех троекратно расцеловал в губы, шокировав тем самым собравшихся.

— Не в засос,— смеясь, комментирует моя собеседница.— Больше десяти лет прошло, а он не забыл...

Как можно забыть ежедневную многочасовую работу в операционной Центрального госпиталя Кабула, куда нескончаемым потоком поступали раненые советские солдаты и офицеры, гражданское население Афганистана, даже — «духи», то есть — душманы. Только с операционной сестрой Щербаковой оперировал будущий министр.

Это — боль, кровь, слезы, трупы, бессонные ночи, вся атрибутика прифронтового госпиталя: все это — потом, после ввода советских войск в Афганистан, когда начались боевые действия. До этого — с семьдесят восьмого года, после безвозмездной передачи Афганистану построенного советскими строителями госпиталя — плановые операции, обучение афганских медицинских сестер премудростям работы у операционного стола. Щедро делилась своим опытом единственная тулячка, которую Министерство здравоохранения страны вытребовало в состав персонала Кабульского госпиталя.

— Свержение Тараки, свержение Амина, приход к власти Бабрака Кармаля (Коли Боброва — *шуточный коммент. авт.*) — всему тому была свидетельницей.

После Афганистана Щербакова планировала пару-тройку месяцев отдохнуть — «кто воевал — имеет право у тихой речки отдохнуть». В отделе кадров Областной больницы думали иначе, совсем-совсем иначе: «Максимум через месяц ждем в операционной — некому работать. И — во-о-ще! В загранке — отдохнула». Во — как?!

— Опять операционная. Через десять лет — честно говоря, устала — перешла процедурной сестрой в Диагностический центр, где тружусь и сейчас.

Медицинская сестра Нина Алексеевна Щербакова скромно промолчала, что в этом году в канун Дня медицинского работника ее наградили знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».



Алексей Яшин
(г. Тула)

**ВОЙНА В АРКТИКЕ:
ИЗ РАССКАЗОВ НИКОЛАЯ АНДРЕЯНОВИЧА***



Современный Город Воинской славы Полярный; основан в 1899 году под названием Александровск как главная база вновь создаваемой Флотилии Ледовитого океана: вид на западную оконечность Екатерининской гавани и острова Екатерининский. На переднем плане — здание, в котором в Великую Отечественную войну располагался главный штаб Северного флота СССР.

© А. Ямаш из комплекта открыток «Полярный — колыбель Северного флота».

*Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть.*

Николай Рубцов

♦ Прошлогодня поездка и отдых в нашем областном курорте нам с Николаем Андреевичем очень понравились. Серега Зябликов даже позавидовал, наслушавшись рассказов — после работы в любимом «Рыбном», посмотрев привезенные фотографии. И это-то на фоне его неудачной поездки на юг: молодое вино, которым он собрался полечить свое сердце, мотор — по его терминологии сына боевого летчика-штурмовика, в этом году вовсе в стране и не квасили, шел второй, самый свирепый год горбатой перестройки и борьбы с алкоголизмом. Вдобавок девка, которую он

* Начало в № 2, 2016 «Приокских зорь».

взял с пляжа для совместного курортного проживания (он снимал у местной хозяйки комнату с отдельным входом), оказалась подмосковной стервой, в два-три дня его раскрутила и смоталась на другой пляж, следующего дурака искать. А Серега до конца отдыха пил с отвращением один лишь квас — экономил на обратный билет. «Эх, дурак, нужно было с вами ехать!» Сделанного не воротишь, тем более, что другие события затмили южно-отпускные страдания нашего коллеги: даже в «Рыбном» и ему подобных простонародных заведениях практически пропал портвешок, водку давно перестали разливать, даже коньяк к обеденному времени заканчивался...

♦ Я понимаю, что читающему эти строки, избалованному изобилием отечественных и импортных напитков («Сюда жемчуг привез индеец, поддельны вина европеец...») — как писал Александр Сергеевич и мест их распива, скучны все эти воспоминания: создается впечатление, что в последние советские годы народ тем и занимался, что все световое время суток только и думал: где взять и где распить безбоязненно, не попав в руки краснофуражечных сержантов? Но вспомните сами те годы: до какого осатанения народ Меченый довел? Даже от рождения не пьющие, язвенники всех степеней тяжести заболевания, страдающие желчнокаменным недугом по алкогольной этиологии — все, включая начальников средней и малой руки, начинали свой трудодень с оживленного обсуждения в курилках и кабинетах последних новостей: кому-то соседка, уборщица в стопятидесятом специализированном, достоверно шепнула, что, дескать, с утра должны завести большой фургон «экстры»; в ресторане «Центральный» официантка Клара, уважающая инженерную публику (сама когда-то окончила два курса нашего политеха) продает — от буфетчицы — коньяк на вынос с наценкой всего в десять рублей... Самые сногосшибательные новости обычно приносил Серега Зябликов, живущий в окраинных Глушанках: «А у нас со вчерашнего вечера самогон на рубль подешевел!».

Но — к делу.

♦ Вот думал, думал... как перейти к сути этого самого дела, рассказа то бишь, этак побезалкогольнее, но — не получается! Вы уж меня извините великодушно. Словом, в то зимнее утро пронесся по нашему отделу неизвестно кем пущенный слух, что-де в ресторане «Упа» вчера праздновали шикарную, чуть ли не генеральского сына свадьбу, поэтому у буфетчицы Марьи Васильевны в загашнике осталось несколько ящиков неоприходованной водки, отпускаемой с божеской наценкой приличным людям. Наша троица входила в этот клуб.

Нам бы, идиотам, сразу сообразить, что слух этот издевательский, явно исходящий от непьющего изобретателя Красенькова, конкурента лучшего изобретателя же НПО «Меткость» Сереги Зябликова — какой дурак свадьбу играет в четверг, тем более — генеральскую! Но безалкогольная жизнь у кого угодно мозги свихнет...

Словом, совершив дисциплинарный проступок, мы уехали из своего леса не пятнадцатичасовым автобусом, а на час раньше, когда покидают родное предприятие гегемоны-рабочие. Ввиду отдаленности от родины, то есть от города, его центра, НПО «Меткость» арендовало у автоколонны 1108 два десятка старых автобусов, которые уже не годились для городских маршрутов.

Сели в автобус, который имел плановую остановку в квартале от «Упы», но при въезде в центр торопящийся куда-то водитель срезал крюк от набитой транспортом и людьми Советской и помчался по тихой и спокойной Менделеевской и, к нашему удовольствию, притормозил почти что у самого входа в ресторан.

...У католиков все благие намерения ведут в ад, а в нашей православной стране — к огорчениям жаждущих людей: Марья Васильевна горько посмеялась над наивными молодыми людьми: «К завтраму обещают привести пару-тройку ящиков. И

это на оба выходных!» Несолоно хлебавши, с отвращением выпили по трехрублевому стакану какой-то ебурлыги в новомодном, недавно открывшемся баре в левом углу ресторана зала. Настоятель, пронырливый парень по кличке Женька-бармен, называл это месиво «джусом», наливая ингредиенты под прилавком, видно, от дурного глаза клиентов.

Вышли, закурили на крепчающем вечернем морозе. Делать нечего, надо расходиться. Нам с Николаем Андреевичем — вверх по проспекту, но сначала пошли провожать Серегу на его восемнадцатый номер автобуса, пошли обратным путем по Менделеевской. Проходя мимо двухэтажного здания бывшего женского монастыря, а ныне юношеской морской школы, вспомнили с Андреевичем о полковнике Шулейко, с которым отец его служил в войну на Северном флоте и с которым же мы так хорошо встречали День военно-морского флота этим летом на курорте, где оказались в номерах по соседству. Милейший Борис Никифорович просил их запросто заходить к нему в морскую школу, где он сейчас — на пенсии — начальствовал. «У меня там и холодильник имеется в кабинете», — лукаво намекал Шулейко понравившимся ему молодым людям.

— Смотри! Никак ваш мореман от политотдела час воспоминаний устроил? — обратил наше внимание Серега на единственно освещенное окно прямо под колоколенкой на крыше. Действительно, за легкой занавеской виднелся силуэт крупного мужчины, активно жестикулирующего руками, и, прислушавшись в открытую вентиляцию ради форточку, узнали и округлый баритон хозяина кабинета и всего здания.

— Зайдем? — мотнул я головой в сторону двери.

— Отчего же не зайти, звал ведь, — поддержал Николай Андреевич. Одна и та же блудливая мысль оседлала наши головы: вспоминали слова Шулейко о холодильнике в его служебном кабинете...

♦ Дверь оказалась незапертой (это ведь не нынешние бандитские времена!); встретила, впрочем, не вставая со стула, заспанная гардеробщица, караулившая в пустой раздевалке две флотские шинели с шапками с «крабами», висевшие отдельно от стоек с номерками на крючках.

— К Борису Никифоровичу, — опередили мы неспешный распрос почтенной раздевальщицы.

— Тама он, — зевнула бабка, махнув рукой влево, в сторону коридора, — токмо пальтушки у меня оставьте, у нас того... морская дисциплина. Номерки можете не брать, а то еще потеряете.

На наш почтительный стук из-за двери раздалось энергичное «войдите» хозяина.

— А-а, молодые люди! Входите, входите, молодцы, выполнили обещание — зашли! Вот, знакомьтесь, Гаврила Анисимыч, мои летние знакомцы по курорту, куда тебя не первый год зову, инженеры, куют, так сказать, щит Родины! — рекомендовал нас Шулейко, великолепно смотрящийся в черной полковничьей форме с красной политотдельской окантовкой погон, с четырьмя рядами орденских колодок на кителе, со значком Военно-политической академии, с другими солидными знаками отличия. Рекомендовал своему, судя по всему, гостю, тоже в форме «черного полковника», но только с синей окантовкой погон. Оба сидели у накрытого — что холодильник послал! — стола: рюмки, закуска, полупустая коньячная бутылка, нарзан.

— От стены стулья-то придвигайте, садитесь к столу, — Шулейко подмигнул, не вставая со своего директорского креслица, обернулся к стоящему рядом зилловскому холодильнику, открыл, достал литровку — точь-в-точь родную сестру давешней, из которой на курорте нас потчевал.

— Вы, молодые люди, сами представьтесь Гавриле Анисимовичу, — Шулейко занялся доукомплектованием стола с учетом увеличения экипажа, — а Гаврила Ани-

симыч — мой давний приятель и сослуживец. Я в политотделе служил, он — в военной прокуратуре флота. Сейчас, навроде меня, воспитывает в военном направлении молодежь: командует областным ДОСААФ в Запорожье, на родине своей.

Мы почтительно пожали руку морскому прокурору, кратко отрекомендовались. Шулейко меж тем закончил нарезать сервелат и грудинку явно столичной покупки, прицелился на литровку «домашней».

— ...Так вот, мы с корабля на бал: только два часа, как с поезда, в Москве с Гаврилой Анисимычем на Всесоюзном съезде военно-патриотических организаций в президиуме сидели! Таки зазвал его на пару дней к себе погостить, вот и начали со знакомства с моим хозяйством, а потом домой покатым, на Севастопольскую. Кстати,— Шулейко заулыбался, вспоминая, обращаясь к гостю,— ты ведь помнишь тот случай с Косыгиным в сорок пятом?

— Ха-ха-ха,— от души рассмеялся осанистый, под стать хозяину кабинета, прокурор,— как же не помнить, ведь мне же поручили с этим разбираться: смех и грех!

— Ну, если так хорошо помнишь, то вот — рекомендую,— Шулейко дружески положил свою руку на плечо зардевшегося Николая Андреевича,— этот молодой человек есть сын того самого старшины с Тороса, с которым ты тогда разбирался, а сам Андреев живет-здоровствует на соседней со мной улице, огородами почти-что граничим!

— Вот ведь дела! — восхитился прокурор,— что в жизни бывает? Прочти в романе каком — ни в жизнь бы такому совпадению не поверил.

Мы с Серегой историю эту давно знали; сам Андреев Матвеевич нам рассказал на дне рождения своего старшего. А посидели тогда с «черными» полковниками от души. Много чего матерые сухопутные моряки порассказали любопытного...

♦ Апрель сорок пятого на Мурмане стоял спокойный, тихий, хоть и по-северному, но — солнечный: на верхушках сопок снег уже начал оседать, подтаивать. Низкое, даже в полуденный час, солнце заставляло жмуриться людей, еще не отошедших от теми и сумрака полярной ночи. Военным и немногим в тех местах штатским казалось, что и суровая Арктика к концу войны отчаянно устала штормить, осыпать сушу и море слепящими снежными зарядами, беспокоить натянутые нервы людей дикой красотой всполохов — во все темное небо — северного сияния. Эту гармонию умиротворенной ранней весенней природы, спокойного моря и успокаивающихся людских измученных душ дано было почувствовать только участникам Великой войны — на самой ее северной оконечности: еще выше были только льды; там пока воевать не научились.

Андреев, всю войну прослуживший старшиной (и по званию — старшина 2-ой статьи) команды наблюдения и связи на крутобоком островке Торосе на самом входе в Кольский залив, стоял на мостике, щурился от яркого низкого солнца и его же отсвета от тишайшего, зеркального залива. На небе ни облачка, и уже давно — ни одного немецкого бомбардировщика, три с лишком года каждодневно пролетавших бомбить Мурманск, облетая зенитные батареи, густо обсыпавшие берега и острова залива.

Теперь все шло в обратную сторону: наши транспортные самолеты и неторопливые баржи с десантными кораблями попеременно двигались влево, на Запад — в уже освобожденную советскими войсками Северную Норвегию: в Киркинес, в Варангер-фиорд. В Мурманск же иногда проходили последние лендлизовские конвои союзников, но уже с минимальным охранением. Союзническую же команду наблюдателей-связистов, служившую в параллель с командой Андреева большую часть войны, уже сняли с Тороса.

Со стороны закутка радиста, находившегося слева и снизу от мостика — боевого поста наблюдения, доносился голос Левитана, личного врага Гитлера; другим лич-

ным врачом фюрера не так давно стал героический подводник-балтиец Александр Ионович Маринеско. А вот Лунин, которого Андреян знал в лицо, за торпедирование «Тирпица» этим самым врагом не стал...

♦ В утренней сводке новостей по радио говорилось о боях на подступе к Берлину; доби́ли окруженных немцев в Восточной Пруссии, про Северный их флот упомянули в связи с Норвегией. Союзники валом катили по Германии с запада. Вспомнил Андреян и о калужском племяннике Леньке, призванном в сорок третьем: бог его миловал, ни одного ранения-контузии, сейчас в самом пекле пехотинец...

— К-х-а-а,— послышалось вежливое покашливание Жоры Асатурьяна, не совсем строевого из-за легкой хромоты старшего матроса, с тридцать девятого года служившего вместе в Андреевом,— о чем мечтаешь, Матвейч?

— Так... Об общем. Чего не спишь? Тебе в третью вахту.

— Отоспался, хватит,— Жора потянул ноздреватым носом,— сегодня Гриша треску на обед жарит. Хорошо как сегодня? Помню, такая вот тишь и благодать в июне сорок первого стояла...

— Тьфу! Все настроение испортил. Не видать тебе Арарата!

— Не глумись над горем армянского народа, Андреян. Мне вот из Еревана пишут, что маршал Баграмян уговорил-таки Иосифа Виссарионовича потребовать от турок Арарат; и Черчилль теперь не у власти, не воспрепятствует, союзник хренов!

Асатурьян раззевался и совсем было собрался отправиться с мостика — проверить, правильно ли кок Гриша жарит треску: он любил, чтобы с корочкой получалась, но в это время раздался зуммер от радиста, Андреян взял трубку, нажал тангенту связи. Единственный на посту новичек, радист только месяц назад прибыл на Торос (прежнего старослужащего радиста Мальцева политотдельский подполковник Шулейко отправил добровольцем на укомплектование недавно созданной Дунайской флотилии, отчаявшись с уговорами о вступлении в партию), потому обращался к начальству официально:

— Товарищ старшина! С поста Большого Оленьего проводка: из Полярного следует на выход в море польская подлодка, пропуск... (радист назвал комбинацию букв). Отбой связи.

— Чего там? — заинтересовался Асатурьян.

— Чего-чего, гора к Магомету идет: пшеки решили под завязку войны подвиг совершить, в море вышли.

Жора, свирепо было задвигавший неуставными усами, за которые его нещадно пилил политотделец Шулейко (куда-нибудь добровольцем его отправить было невозможно из-за хромоты), при упоминании имени пророка, тотчас сообразил, что речь идет не о турках, а о польской подлодке, что почти приросла к пирсу Полярного, не сделав ни одного боевого выхода за время войны. Сама же лодка была в начале войны передана польскому правительству Миколайчика в изгнании (в Лондоне) и с польским экипажем послана на советский север для посильной помощи в охране лендлизовских караванов. Вот и охраняли... Сами себя.

Асатурьян, по всей видимости, имел желание свести польский вопрос к турецким проискам, поэтому начал, забыв про правильно пожаренную треску, издаека:

— Станный народ эти поляки! Немцы пять лет их страну оккупируют, Варшаву всю разрушили, а они и ухом не шевелят? Армия Андерса* в Персии отсиживается, подлодка — в Полярном, правительство в Лондоне...

* 100-тысячная польская армия после разгрома Польши Германией находилась на территории СССР, отказалась участвовать в войне, в 1942 году ушла в английскую зону оккупации Ирана; после окончания Второй мировой войны следы ее теряются где-то в Италии.

— Ну, почему же, а Войско Польское?

— Ты, Андряня, смеешься надо мной? Войско-то польское, да из поляков там почти-что один Рокоссовский. У меня двоюродный брат Ашот в том войске воюет: в английском френче и с конфедераткой на голове; ведь помнишь, фотографию тебе показывал?

Андряня заухмылялся, вспомнив, как словоохотливый и дотошный Асатурьян доводил до белого каления Шулейко своими вопросами, когда тот планово заезжал на политотдельском катере окормлять свою паству...

♦ Жора Асатурьян ушел все же досмотреть за жаркой трески. Через полчаса со стороны стоявшего в створе залива Седловатого послышался характерный стукотной гул, шедшей на дизелях подлодки, а вскоре показалась и она сама, без бинокля хорошо различимая. Еще через четверть часа лодка вышла на линию Тороса. К этому времени на мостик вернулся любопытствующий Асатурьян, вытирая чистой ветошкой губы и подбородок: он успел и пообедать в камбузе.

— Ты радисту-то дай, салаге, команду о пропуске на Кильдин или Рыбачий — куда она там повернет? Может в Англию за Миколайчиком идет, а?

— Ты, Жора, советы Грише давай — как треску жарить, а дисциплину еще никто не отменял, как говорит товарищ Шулейко, ха-ха! Вот отмашу и дам радисту команду.

— Какая-такая дисциплина!? Для нас война — капут!

— Ты эти разговорчики брось, товарищ старший матрос.

Хотя разговор и был шутейский, но Жора сразу поскучнел: очень его обижало неизменное свое скромное звание старшего матроса... Однако с ехидцей про себя отметил, что и Андряня похоже насовсем застрял в своем чине старшины 2-ой статьи. Но дразнить старшего и давнего своего приятеля раздумал.

Лодка дала короткий гудок, Андряня в ответ, нажав ручку ревуна, дал ответный. На мостик рубки подлодки выскочил сигнальщик с красными флажками в руках; такие же флажки взял с подсобной полки Андряня и вышел вперед, к ограждению мостика, встал по стойке «смирно» и отмахал флажковой азбукой запрос. Польский сигнальщик в ответ отмахал свой шифр; Андряня отошел к столику, сверил с записанным в вахтенном журнале, снова выступил вперед и отмахал разрешение на проход, потом позвонил радисту.

— Хочешь, трески принесу? — Асатурьян явно подхалимничал.

— Не надо, через час пообедаю, когда сменюсь.

— Ну, как хочешь, а я пойду еще ухи похлебаю и посплю.

Асатурьян, прихрамывая, ушел с мостика, а Андряня вынул из кармана папиросы. «Хорошо все же без бомбежек жить», — прищурился он на солнце.

♦ Старшина поскучал на мостике еще с час, пропустив в залив за это время только две гражданские суденышки: рыбацкое суденышко, шедшее с лова на кильдинской банке*, и небольшой грузовой пароход «Гоголь», почти ежедневно курсировавший между Видяево и полуостровом Средний — что-то возил по части морской авиации.

С изумлением, обернувшись за сигнальными флажками, Андряня обнаружил на полочке давешнюю чистую ветошку, которой Асатурьян вытирал губы и подбородок после жирной (Гриша масла не жалел) трески. Как потомок калужских старообрядцев-поповцев, Андряня не выносил и малейшего беспорядка в вещах, делах, флотской дисциплине, поэтому загодя решил прочитать въедливую нотацию Жоре, даже

* Обширная отмель у острова Кильдина, к северо-востоку от выхода из Кольского залива (где сейчас лежат на дне останки АПЛ «Курск»).

наглядный пример продумал: «Жора! Я думал ты армянин, а ты неряха хуже турка...» И так далее. Жорину тряпку он брезгливо, подняв двумя пальцами, бросил в бочок с песком, в котором тушили окурки.

Сдав вахту пополудни старшему же матросу Федору Крапивину, старослужащему, Андреян спустился в камбуз. Действительно, уха и треска коку Грише сегодня удались. Компот, забытое за годы войны флотское лакомство, был сегодня тоже настоящий, не из американского концентрата: только накануне продуктовая баржа завезла на Торос довольствие, в том числе мешок сухофруктов. Странно было думать: где-то люди и в эти годы яблоки, груши со сливами собирают...

Он заглянул в матросский кубрик: Жора с храпом спал, а выражение лица явно говорило: севанская форель все одно лучше трески! Спать — на флоте дело святое. Отложив взбучку, старшина ушел в свою «командирскую» каморку, которую он когда-то самолично переоборудовал из пустовавшей подсобки: не потому, что брезговал флотским коллективом, а Шулейко, тогда еще капитан, как-то привез на пост маленький сейф для хранения служебных документов, велел Андреяну соорудить себе отдельный кубрик и спать рядом с сейфом. Обрадованный старшина, чуткий сон которого постоянно перебивал храп Асатурьяна, оборудовал себе комнатку со вкусом флотского ранжира, поддерживал в ней абсолютную чистоту и порядок. Впрочем, дверь в свой кубрик держал днем и ночью полуотворенной — хотя и имел крепкие флотские нервы, но малое замкнутое пространство его угнетало. Опять же — так демократичнее, через узкий коридорчик каюта радиста, часто оттуда музыка слышна. К тому же что срочное — радисту и бежать не надо: обернулся и доложил. Слух у Андреяна, равно как и зрение, был отменный.

♦ Прилег, однако в сон не тянуло. Прикрыл глаза, а в них бегали вдогонку зайчики отблесков солнца от зеркальной воды залива; все же глаза утомились от долгого, в течение всей вахты рассматривания однообразной картины: широкое горло залива, с пятнистыми, где уже сошел снег, обрывами сопок берегов, ползущая по глади вод рыбацкая шхуна, а в стороне моря, где берега залива, мельчая, уходили вправо и влево, сливаясь с горизонтом в дымке, — спичечный коробок морского «охотника»*, ходящего взад-вперед, сторожащего вход в залив... Застывшая картина июня сорок первого, возникшая наяву три с половиной года спустя.

Сон не шел, Андреян раззевался, из-за двух полуотворенных дверей из комнатки радиста доносилась тихая музыка, перемеживаемая краткими фразами по-английски. Вот и конец войне — тихий, солнечный, умиротворенный, с красивой музыкой камерного оркестра, передаваемой радиостанцией из Лондона. Вроде как в течении жизни ничего не изменилось, только вот... тишина. Это самое непривычное. Настолько тихо, что чуткий слух уловил из-за переборки храп Жоры Асатурьяна.

В комнатке Андреяна, устроенной им по образцу кают среднего корабельного офицерского состава, все было продумано, а по причине малой кубатуры помещения любой предмет можно было взять, не вставая с койки. На стене, прямо над этой койкой, была принаитована полочка, самолично и любовно выструганная и отполированная Андреяном из бросовой половой доски. На полке же помещались четыре десятка разноформатных книг, разными путями попавших к нему, начиная еще с калужских времен учения в молочном техникуме. Это и было почти все его личное имущество; подвижная (а потом и малоподвижная на островке) жизнь Андреяна не позволила собрать и сохранить какой-либо скарб. В рундучке же, что стоял под койкой, находились носильные форменные вещи, на гвоздях, вбитых в углы стен, висели шинель, бушлат, летняя рабочая роба, «мичманка» и зимняя шапка. На полу в том же

* Малый противолодочный корабль (воен. разговорн.).

углу стояли две пары ботинок, одни еще довоенные — «батовские»*, и рабочие яловые сапоги: все хорошо начищенные. Гражданской же одежды Андреян не имел с года своего призыва, то есть с тридцать шестого.

Еще в кубрике умещался совсем небольшой стол-гумбочка, поставленный под окном, завешенным полотняными шторками. Знаменитый сейф, привезенный Шулейко, стоял пустой, поскольку единственным документом на посту был вахтенный журнал, а он постоянно был нужен на мостике. Вот и все немудреное хозяйство.

◆ Поскольку сон не шел, Андреян повернулся на бок, приподнялся на локте, левой рукой дотянулся до окошка, раздвинув занавески. Сделав свет, он повернулся на другой бок, чуть подавшись спиной, оперся на другой локоть и уже правой рукой достал с полки один из четырех приемистых томиков в порыжелой картонной обложке довоенного издания «Дешевой библиотеки»: уже он сам забыл — в который раз перечитывал «Войну и мир». Открыл, вынув закладку — обрывок газеты, второй том на нужной странице, с полчаса читал, точнее говоря, фиксировал в памяти хорошо знакомый текст. Порой, переворачивая страницу, досадливо морщился: неудовольствие аккуратиста Андреяна вызывали частые, неразборчивые карандашные пометки на полях, а то и прямо поверх печатных строк.

Понятно, что сам Андреян, строго предупреждавший матросов команды, бравших «что-нибудь почитать», чтобы уголки страниц не загибали, на страницах не чиркали, книгу не перегибали наподобие журналов и брошюр и пр., ни малейшего отношения к этому неряшеству не имел. Напакостил же юнга Валька, гостивший на Торо-се; прошлой зимой с тральщика, шедшего из Полярного на задание в море, сняли и оставили на острове — до прибытия какого-нибудь каботажа с базы — этого самого юнгу, сильно затемпературевшего (на тральщике медперсонал не был предусмотрен). Однако море тотчас на неделю заштормило, а юнга стараниями кока Гриши, его горячего чая с одному известными ему травами, уже на второй день пришел в себя, только говорил хрипло, проявил необыкновенный аппетит. Жил же он всю эту неделю, пока тральщик не забрал его на обратном пути в Полярный, в комнатке Андреяна: поопасались, что чем-то заразным хворает и поместили вроде как в изолятор. Андреян же на это время перешел в общий кубрик. Уже со второго дня пребывания юнга постоянно торчал то на камбузе у Гриши, дегустируя все подряд, а ближе к вечеру — в матросском кубрике, слушая разные байки матерых мореманов сухопутной службы и искусную игру Федора Крапивина на гармошке в дуэте с мандолиной Асатурьяна.

Несмотря на такую занятость, шустрый юнга, как потом с горечью и гневом установил Андреян, успел тщательно, с карандашом перечитать с десятков книг библиотечки старшины, включая три тома «Войны и мира»; четвертый не успел — вернулся тральщик и забрал своего юнгу. Прощаясь с экипажем поста, Валька обещал при случае еще раз побывать на гостеприимном островке, желательно вместе со своим однокашником по Беломорской школе юнг Мишкой Поповым**, служившем на другом корабле их бригады.

...Только тридцать с лишком лет спустя, увидев на столе в комнате сына Николая только что вышедшую книгу Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17» и прочитав ее вместе с помещенной там же краткой биографией автора, понял Андреян —

* В 30-е годы обувь для РККФ СССР поставляла чешская обувная фабрика Бати (в послевоенной Чехословакии ее переименовали в ЦЕБО).

** Также не вымышленный персонаж: Михаил Павлович Попов ныне живет в Курске, работает профессором в тамошнем университете, известный биофизик, доктор биологических наук — научный коллега и знакомый автора.

кто исчеркал карандашом «Войну и мир» и «Тихий Дон» в его военной библиотечке. Мир-то он тесен.

◆ Прочитав с десяток страниц, Андреян аккуратно заложил книгу газетной полоской и положил на тумбочку-столик рядом с пепельницей — крышкой от пластмассового корпуса старого телефонного аппарата, закурил папиросу.

Будучи философом-эмпириком в душе, Андреян ко всем событиям окружающей его жизни относился по-философски же, то есть, оценивая события, факты, собственную жизнь, становился в позицию некоторого стороннего наблюдателя — это как в теории относительности, бесформульный вариант которой он освоил, участь в техникуме.

В контексте толстовских воззрений на сущность мира и войны в восприятии разных героев романа он и размышлял.

Вот заканчивается самая жестокая война из когда-либо бывших. Были, конечно, войны и намного более длительные: Семилетняя, Тридцатилетняя, Столетняя, наконец. Но все они вместе, взятые по масштабу охвата, потерям в один только год этой войны уместятся... Чем жизнь человека в войну и в мирное время отличается? — Подумав, а думал он не в первый раз, Андреян подтвердил свои прежние парадоксальные выводы: а почти ничем не отличается, особенно если твоя жизнь к началу войны не устоялась, если не обзавелся семьей, домом, привычками размеренного течения бытия.

Конечно, к постоянному ощущению опасности привыкнуть невозможно, но, с другой стороны, если в облачный сверх меры день немцы не летят бомбить Мурманск, попутно оделяя бомбой-другой и Торос, возникает кощунственное чувство неполноты прожитого дня.

Значит, человек все же привыкает к самому аномальному течению жизни? А попробуй не привыкни, коли тебя в эти обстоятельства вставили, как винт в отверстие, закрепили гайкой, а чтобы не развинтились, например, от вибрации, еще и законтрогают. Опять теория человека-винтика?

Нет, сегодня Андреяну не философствовало. Самое интересное, что голова в этом направлении хорошо работала после очередной политбеседы не забывающего своим вниманием отдаленный пост Шулейко, за годы войны выросшего в звании от политрука до подполковника. Значит, умел матерый политотделец заставлять своих подопечных мыслить, хотя беседы-наставления его и не выходили за рамки, утвержденные Главпуrom. Все дело было в конкретных, житейского характера, отступлениях — для ясности и конкретности.

Все же полуденный сон сморил старшину-философа. Но проспал он всего минут двадцать.

◆ Его разбудил голос радиста — через коридорчик и две полуотворенные двери: — Товарищ, старшина! Тут непонятное сообщение с поста Большого Оленьего.

Андреян поднялся с койки, вставил ноги в самодельные войлочные обувки «для дома» и, как был в тельняшке, вошел к радисту:

— Чего тебе не понятно?

— Да вот сообщили, что только что со стороны Верхней Ваенги, по всей видимости, прошел катер, не подавая сигналов пропуска. Им же на Большой Олений никаких сообщений по радио не поступало.

— Спят, наверное, на Оленьем на посту.

С этими словами Андреян вернулся в свой кубрик, накинул на плечи бушлат и поднялся на мостик, где уже Крапивин шурился на послеполуденное солнце, явно склоняющееся к горизонту.

— Дай-ка,— протянул Андреян руку к биноклю, по-чапаевски накинутаго на бушлат Федора.

Действительно, в бинокль слева от берега Большого Оленьего виднелась пока еще точка быстроходного катера.

— А где ракетница?

— В шкафчике,— Крапивин мотнул головой на настенный шкафчик за столом с вахтенным журналом.

— Что за бардак? Ракетница должна находиться под рукой вахтенного!

— Чего ты, Андреян, расшумелся, подумаешь делов-то,— Федор подошел к шкафчику, достал ракетницу, три уставных патрона к ней с разными цветами и все это положил на полку под столешницей вахтенного стола.

Андреян включил связь с радистом:

— Ничего не было?

— Глухо.

— Ну, слушай дальше.

С минуту Андреян поразмышлял, потом снова взял у Крапивина бинокль, а тому велел набрать из флажков на мачте сигнал запроса и остановки корабля для выяснения. Катер меж тем уже выскочил на траверсе Седловатого и хорошо просматривался в бинокль: белого цвета посыльный катер, которые в обиходе морском называют «адмиральскими». Впрочем, явно командующего на нем не было: катер Головки был хорошо вахтенным знаком.

На мостик, позевывая, влез по боковой лестнице проснувшийся Асатурьян; у Жоры был нюх на происшествя. Все трое молча поджидали приближающийся катер. Молчание Жоре не понравилось, он начал рассказывать длинную байку о немецкой лодке, якобы в прошлом году ночью вошедшей в Темзу и так же спокойно вышедшей в море. Зачем она заходила — того Асатурьян не знал.

Уже по своему почину позвонил радист: никаких сообщений не поступало.

♦ Катер меж тем почти поравнялся с Торосом; шел он посредине залива. Жора в бинокль высмотрел на палубе катера перед рубкой двоих штатских среди группки одетых в форменное.

— Смотри, гражданские! — передал он бинокль Андреяну.

— Сам вижу, что не турки,— буркнул тот, взял ракетницу, переломил ствол, вставил красный патрон и выстрелил. Федор Крапивин вслед за выстрелом вывесил на мачте ранее подготовленный им флажковый сигнал.

Однако катер ни на кабельтов не снизил скорость, хотя поравнялся с островом. Андреян подошел к шкафчику за другой красной ракетой, зарядил и выстрелил. Словно издеваясь, катер надбавил обороты.

— А ну, расчехляй,— не отрываясь от бинокля, указал Андреян на пулемет, установленный на треноге в правой стороне мостика. Это был тот самый новенький тяжелый пулемет «Кольт» лендлизовкой поставки, что Андреян ездил получать в Мурманск в конце зимы сорок четвертого года, где в последний раз виделись и даже хорошо отметили это выпивкой они с Джеймсом Лэнгом, ранее служившим на Торосе в составе союзной команды.

— Смотри, командир, на неприятности еще нарвешься, шишка какая-то в шляпе катит,— заметил Асатурьян, снимая чехол, а Крапивин уже поправлял ленту патронов, по диспозиции постоянно заложенную для боевой стрельбы.

— Пусть инструкцию прежде перепишут,— пробурчал Андреян, давая в воздух третью и последнюю предупредительную ракету.

— Ручкой помахали,— весело сказал Жора, в чьем распоряжении сейчас был бинокль.

— И мы помашем,— Андреян наклонился, глядя в визир прицела, ствол «кольта» легко ходил вправо-влево и вверх-вниз, взял повыше над рубкой и дал очередь, сотрясшую мостик и все здание-башню поста. Затем снова перевел ствол влево, взял по визиру ниже ватерлинии — с запасом — и дал длинную очередь. В двух кабельтовых от борта катера взвилась цепочка фонтанчиков.

— Получи, фашист, гранату! — усмехнулся Жора.

Катер запоздало подал громкий сигнал корабельной сиреной, сбросил обороты до нуля и затормозил разворотом влево, в сторону поста, затем взял самый малый ход, приближаясь к острову.

◆ Катер на малом ходу подошел на полтора кабельтовых к отвесному берегу острова, застопорив движение, уже по инструкции развернулся бортом и в противоположную предыдущему курсу сторону.

Андреян взял в руки раструб переговорной трубы, но его опередил офицер явно высокого ранга с катера, уже державший трубу у рта:

— ...Вы, на посту! Под суд захотели? Что за стрельба по кораблю, на борту которого находится представитель руководства страны, член правительства!

По всему было видно, что присутствие на палубе штатского в шляпе заставляет его выбирать выражения.

— Почему вы нарушили инструкцию и не остановились на цветные и флажковые сигналы?

— Я тебя, сукина сына, сгною...— не сдержался-таки офицер, но штатский в шляпе остановил его жестом руки. Переговорную трубу на катере взял, судя по повседневному кителю, старшина катера. С ним Андреян и вел переговоры. На корабле рация имелась, поэтому через четверть часа радист позвонил на мостик и передал Андреяну послание аж от самого замначштаба Северного флота: беспрепятственно пропустить катер под номером таким-то, следующий по спецзаданию, передать шифр пропуска на следующий по курсу корабля пост. И еще радист сообщил неслужебную часть радиограммы: «Вы мне там ответите за свою стрельбу!»

На мостик рубки катера выскочил сигнальщик и по всей форме отмахал запрос на проход. Взял флажки в руки и Андреян. Через несколько минут мотор катера, набирая обороты, взревел, корабль сделал крутой вираж и, оставляя широкий тракт белой пены за собой, начал скоро удаляться от острова.

— Зажрались начальники, хуже турок! — сплюнул (за мостик) Асатурьян.

◆ Расплата за лихую пулеметную атаку не заставила себя долго ждать. Как то водится, долго ждать на посту приходится пайков, когда продовольствие на исходе, заслуженных медалей, обещанных повышений в звании, новой стереотрубы взамен пришедшей в полную негодность — времен Цусимской битвы... По неделе ждал Андреян санитарный катер, когда сначала обострившаяся в голодном сорок втором году язва, а в следующем — открывшийся туберкулез укладывали его в госпиталь в Полярном. А вот на расправу начальство скорое.

Рано поутру катер с членом правительства проследовал обратным курсом, полностью проделав все положенное по инструкции при прохождении мимо поста, а уже пополудни к крохотному пирсу Тороса пришвартовался столь хорошо знакомый политотдельский катер, с которого в скорбной деловитости сошли подполковник Шулейко, незнакомый майор в черной шинели с синими петлицами, с кожаной папкой под локотком; замыкали шествие мичман и трое матросов в рабочих робах.

Шулейко с майором, ни с кем не здороваясь, так же молча проследовали в хорошо знакомую подполковнику комнатку для политзанятий с бюстиком Ленина и

портретом Вождя, а мичман, вычислив командиром Андреяна, передал ему предписание на изъятие пулемета в связи с прекращением активных боевых действий в районах базирования Северного флота. Расписавшись в получении предписания, Андреян крикнул Асатурьяна — проводить служивых. Матросы живо демонтировали пулемет, сняли треногу с болтов, забрали ящик с боеприпасом и все это снесли на катер. «От греха подальше», — подмигнул Андреяну мичман, прощаясь со старшиной.

Из здания поста посыльным выглянул радист и позвал командира на расправу.

Мурыжили Андреяна Шулейко с майором-прокурором, тож из хохлов, как родной брат подполковнику, которого Шулейко именовал Гаврилой Анисимовичем, полтора часа. Потом отдельно допрашивали радиста, Крапивина, Жору Асатурьяна и еще кой-кого из команды. Каждый стоял на своем: Андреян — на уставе береговой службы и инструкции, которую пока никто не отменял, прокурор — на превышение должностных обязанностей («Потом, ведь понимать надо — один из руководителей партии и государства на катере следовал...»), а Шулейко напирал на тот существенный момент, что на посту сложилась вопиющая обстановка: единственный член партии старший матрос Волков переведен на другое место службы, все остальные, включая нового радиста, по возрасту вышли из комсомола или близки к этому печальному в их жизни моменту. Очень не понравился прокурору старший же матрос Асатурьян, который проявлял нездоровый антитурецкий национализм и даже шовинизм. Конечно, турки не союзники наши, но ведь и не воюют с СССР?

Шулейко грозил всеми карами земными и небесными, прокурор щурил глаза под круглыми очками, явно копируя Лаврентия Павловича. Кончилось дело объяснительной Андреяна, взявшего на себя единолично ответственность. Прокурор сурово заверил, что дело вовсе не закрыто, а поскольку Шулейко в присутствии старшины проговорился, что на катере находился сам Косыгин, следовавший с инспекцией баз Северного флота, то с Андреяна взяли и особистскую расписку о неразглашении.

Также не прощаясь, подполковник с майором покинули пост, катер отвалил от пирса и растаял в ранней темноте залива.

Разбирательство разбирательством, но Шулейко помнил и о своих политотдельских обязанностях: оставил новый график проведения политинформаций — ответственный комсомолец-радист, а также пачку свежих газет. Поэтому, когда старшину обступили сослуживцы с вопросом: кто же такой был на катере, — Андреян сказал, что не имеет права разглашать и ткнул пальцем в раздел хроники флотской газеты «На страже Заполярья», где сообщалось о инспекционной поездке на Северный флот товарища Косыгина. Матросы присвистнули.

♦ Андреян ожидал самого худшего, а худшим для всех кадровых срочнотрудовых, то есть кто встретил начало войны уже в военной форме, в связи со скорым окончанием войны было увольнение-демобилизация. Это означало, что вместо заслуженной сытой и спокойной службы, хотя бы пару-тройку лет, придется возвращаться в забытую гражданскую жизнь, да еще в самую разруху, голод, неустроенность... И кто их там ждет, почти десять лет тому назад ушедших из дома? А у многих, как у Андреяна, и дома-то не было. Словно в другой мир вернуться.

Прошла неделя, потом другая, отметили на Торосе, как и во всей стране, Победу. За это время связисты из Полярного восстановили телефонный подводный кабель, связывающий Торос через зенитную батарею на ближнем берегу со штабом и политуправлением, поэтому уже на другой день после Победы Шулейко, обзванивая все опекаемые им команды, весело и дружелюбно поздравлял Андреяна, называя его по имени-отчеству. Был Борис Никифорович в легком и счастливом подпитии:

— ...Службу пока несите как обычно, кадровые передвижения и изменения будут

в течение всего лета проводиться. По секрету, так сказать, лично тебе сообщая: ты в кадрах остаешься, готовь рапорт на сверхсрочную, и отпуск тебе по первому же приказу будет. Вот так-то!

Уже служа на новом месте, на посту прямо напротив Североморска, Андреян услышал от молодого политотдельского старлея, с которым оказался калужским земляком, в честь чего они демократично распили поллитровку, ходившую в командных кругах флота байку-быль, явно касающуюся Андреяна, как он сам сообразил.

Как уверенно говорили слухи, последовательно спускавшиеся от флотской верхушки к командирам частей и соединений, далее к их адъютантам и любимчикам, наконец, к совсем уж младшим офицерам, чуть ли не на приеме руководством страны, устроенном в честь военачальников Советской армии, на котором Иосиф Виссарионович произнес свой исторический тост о решающей роли русского народа в Победе, Сталин, беседуя с командующими флотами, с улыбкой взглянув поочередно на Кузнецова и Головка, шутиливо посетовал: дескать, что за бравые у вас моряки, вот товарища Косыгина наверное приняли за адмирала Дёница и обстреляли?

Андреян смущенно смеялся. Еще раньше Шулейко, благодумствуя по случаю досрочного получения чина полковника, посетив пост — место теперешней службы Андреяна, рассказал, как все было на флотском уровне — сразу же за инсцендентом.

Когда Головка доложили о случившемся (Сам Косыгин вроде как ни словом ему не обмолвился), он нахмурился, приказал скоренько разобраться и доложить подробно, следствием чего и явился визит Шулейко с прокурором на Торос. Подробнее же ознакомившись с обстоятельствами дела, вспомнив Андреяна в связи с крейсером «Эдинбург», распорядился старшину катера разжаловать в рядовые (в связи с Победой подготовленный приказ отменили, но старшину убрали в глухой гарнизон на береговую службу).

— Конечно,— рассуждал командующий в присутствии начштаба и начальника политуправления флотом,— следовало бы Андреяну медаль дать, но как-то неудобно — члена правительства, ха-ха, обстрелял?!

Война окончилась, но товарищ Сталин призывает держать порох сухим, нам нужны во флоте дисциплинированные моряки, имеющие бесценный опыт боевых действий. Так что оставим этого старшину с Тороса в кадрах, а поощрим его... вот в отпуск первоочередно отправим!

Истинно сказано: за богом молитва, за царем служба не пропадет!



Владимир Сапожников
(г. Тула)



НЕТОЛЕРАШЕН

Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова и премии им. Л. Н. Толстого, учрежденной Правительством Тульской области.

Иван Петрович оказался на южном побережье Франции, в Ницце, на вторые сутки после происшедшего здесь теракта, когда обезумевший трансвестит из северной Африки вечером передал грузовиком на Английской набережной кучу отдохнувших европейцев, не пощадив ни детей, ни женщин, ни стариков...

Небольшая группа туристов, в состав которой входил и год тому назад ставший пенсионером, но продолжающий работать, профессор медицины Иван Петрович Семенов, разместились на несколько дней в уютном отеле на второй линии — улице, которая проходила параллельно первой линии — Английской набережной, метрах в пятистах от нее и собственно усеянного крупной галькой морского пляжа.

После устройства в гостинице Иван Петрович решил прогуляться по городу, где-то поужинать.

Уже начало темнеть, когда он медленным шагом спускался вниз по направлению к набережной. Многоэтажные каменные дома с мрачно плотно закрытыми металлическими решетками неприветливыми подъездами густо нависали над неширокой улицей.

По пути встречались одинокие прохожие — в основном, молодые, неопрятного вида, громко, не по-европейски галдящие выходцы из Северной Африки. Среди прохожих попадались изредка и имеющие перепуганный, неуверенный в себе вид французы и француженки — скромно, неброско, но опрятно одетые, почему-то все с безрадостными, кислыми лицами.

Семенов решил зайти в ближайшее кафе поужинать, попал через приоткрытую дверь в тесное помещение, плотно заставленное столами и стульями.

В плохо освещенном заведении затхло воняло кислой гнилью, смрадом. Немногочисленные посетители вяло жевали подгорелые куски тошнотворно выглядывшей пищи.

Подбежал нагло улыбающийся, отвязный официант арабской внешности, что-то пролапотал по-французски. Иван Петрович не знал французского, ответил по-немецки. Официант сразу все понял, закивал барашисто кучерявой, масляно блестящей, видно, давно не мытой шевелюрой:

— О, рашен, рашен! Что будет ест?!

Ивана Петровича чуть не стошнило от вопиющей антисанитарии в заведении. Он отмахнулся от официанта, и поспешил к выходу — в такой клоаке он никогда не питался и есть не станет.

Последующие заведения, густо занимавшие первые этажи зданий, куда он заглядывал,— оказались такими же грязными африканскими забегаловками. Семенов понял, что остается только один выход — купить что-нибудь в ближайшем супермаркете — и потом перекусить у себя в номере в отеле.

И как раз он увидел продовольственный супермаркет на своем пути, на первом этаже ближайшего здания.

В плохо освещенном помещении супермаркета было достаточно многолюдно. Среди полок, заставленных упаковками сыров, молочных, мясных продуктов, банками с консервами, в углу находился хлебный отдел.

Работник супермаркета из задней двери вынес большую корзину, заполненную свежеспеченным хлебом.

Посетители тут же аккуратно выстроились друг за другом в очередь за батонами, багетами. Дурманящий, ароматный запах горячего хлеба приятно защекотал ноздри и Ивана Петровича. Он тоже встал в очередь за пожилой, с крашеными в рыжий цвет волосами на голове, со вкусом одетой француженкой. Люди из очереди впереди него выбирали по одному багету, и очередь начала двигаться вперед.

Вдруг в торговый зал шумно вошли, почти вбежали два араба средних лет, с лицами, заросшими на кадыке и щеках торчащими в разные стороны, нечесаными бородами, что-то проорали друг другу по-арабски, бесцеремонно в начале очереди оттеснили, оттолкнув передних посетителей — французов в сторону от корзины с хлебом.

Подхватили всю корзину, нагло улыбаясь и переговариваясь друг с другом, потащили ее к выходу. Никто из стоящих в очереди французов не возразил, *толерантно* утершись случившимся.

Семенов, не привыкший к такому беспределу, не выдержал. Он решительно схватил одной рукой за край корзины с хлебом, потянув ее назад, а другой остановил за плечо наглого араба.

— Стоп, вы здесь не одни! Осади-ка, приятель! — по-русски сказал Иван Петрович.

Второй араб от неожиданности не удержал корзину, она по инерции подалась назад и оказалась в руках Семенова.

Иван Петрович двумя руками тут же возвратил ее на то место, откуда она была похищена.

— Прошу, разбирайте хлеб! — предложил он растерянно и безучастно за всей этой сценой наблюдавшим французам.

В этот момент чья-то рука впилась в его плечо справа. Семенов обернулся — старший из арабов зло вцепился в его одежду, что-то кричал визгливо на непонятном наречии, брызгая слюной, бешено вращая своими темно-карими глазами.

Иван Петрович вспомнил прием, с помощью которого можно было освободить плечо и повергнуть соперника на землю болевым захватом, чему его хорошо обучал тренер по рукопашному бою во время прохождения срочной службы в морской пехоте на Балтфлоте в юности, в советские времена.

Спустя мгновение распростертый, придавленный жестко коленом нападавший по-арабски, видимо, молил отпустить заломленную руку, лежа лицом вниз на полу.

Второй наглец замахнулся сзади, пытаясь ударить кулаком в голову Семенова. Но боковым зрением Иван Петрович заметил это движение, вовремя наклонившись, увернулся от удара, одновременно сам нанес встречный с правой, попав точно в переносицу противнику.

Тот с окровавленным лицом, свихнувшейся набок переносицей рухнул рядом со своим стонущим от боли напарником.

После этого Семенов захватил обоих стонущих арабов за руки, по полу выволок к выходу из супермаркета, и, дав по очереди пинок под зад, вышвырнул их на улицу. Автоматические двери входа в супермаркет мягко, *толерантно* захлопнулись.

Семенов отряхнул ладони, вернулся к корзине со свежим хлебом. Крашенная в рыжий цвет француженка, которая стояла в очереди перед ним, в знак солидарности подняла вверх большой палец руки, что-то восторженно проговорила на родном языке, из чего русский понял только одно — что-то типа «рашен, рашен, мерси...».

— Да, рашен,— с усмешкой, не владеющий французским, кивнул Иван Петрович.— Рашен, но не *толерашен*! Что-то здесь у вас эти хлопцы совсем обнаглели!

Выбрав батон с хрустящей корочкой, захватив колбасную нарезку, упаковку сыра, бутылку вина, расплатившись за все это на кассе, Семенов вышел из супермаркета.

На улице, засыпанной то там, то здесь неубранным мусором, валяющимися окурками, было пустынно. Размышляя о последствиях беспредельной толерантности коренных жителей Франции, Иван Петрович устало побрел к себе в отель по мрачным улицам, казалось, вымирающей Ниццы.



Валерий Румянцев
(г. Сочи)



ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

Окончил филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР, в органах КГБ СССР. Полковник ФСБ в отставке. Автор десяти книг поэзии и прозы.

Захарову повезло. Он ехал в купе вагона «СВ» один. В дорогу взял «Сумму технологий» Станислава Лема. Эту книгу он купил спустя месяц после окончания института, сразу начал ее читать, но вскоре бросил. Этот томик оказался одной из тех книг, в которых содержатся настолько глубокие мысли, что многие боятся к ним даже приблизиться. И хотя в последующие годы он живо интересовался философией, знакомился с трудами многих мыслителей, конспектировал их, «Сумма технологий» почти четыре десятка лет пылилась в его домашней библиотеке по соседству с наследием мудрецов древности и средневековья. И вот, наконец-то, дошла очередь и до нее.

Пища для размышлений имеет неограниченный срок хранения. Захаров читал с завидным азартом, не обращая внимания на стук колес и бесснежные декабрьские пейзажи за окном. Перечитывал по нескольку раз отдельные абзацы, пытаясь проникнуть в логику автора. Ведь для того, чтобы приручить чужие мысли, иногда требуется много времени. Он сожалел, что не оценил эту книгу раньше, и радовался, что никто не лезет с дорожными разговорами и не мешает ему погрузиться в каскад мыслей знаменитого поляка. Единственно, что иногда отвлекало Захарова, так это предстоящая встреча со станцией Котельниково. Для него это была не обычная станция, а место, навевающее целый вал воспоминаний. В этом городке он родился, в нем прошло его детство и ранняя юность. Там он познавал мир, первый раз влюбился, а в шестнадцать лет вместе с матерью и отцом навсегда уехал оттуда в другие края. И так получилось, что за сорок пять лет он ни разу не побывал на своей малой родине. А временами этого очень хотелось, наверное, потому, что встреча со своей молодостью всегда делает тебя моложе.

В Котельниково поезд должен был стоять аж двадцать минут, потому что именно в этой точке производится замена электровоза. Захаров взглянул на часы и, отметив в памяти номер страницы, закрыл книгу.

Вот-вот появится родная станция. Скорее всего, подумал он, на путях по-прежнему продают пассажирам рыбу, вареную картошку, домашние пирожки. Захаров вновь погрузился в воспоминания детства. Он вспомнил ту самую девочку Таню, которой увлекся в четвертом классе и любил до самого отъезда, до окончания девятого класса. За сорок пять лет все лица одноклассников стерлись в памяти, а вот ее лицо он помнил до сих пор. Странно все-таки устроен человек: помнил, хотя ничего

между ними не было, ни малейшего намека на интимную ласку. Знаки внимания он регулярно проявлял, и она, безусловно, замечала их. Захаров жил тогда совсем как в том стихотворении классика: «Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут...». Это была платоническая любовь, которая еще не успела деформироваться под воздействием страсти и, видимо, поэтому единственная в жизни. «Боже мой! Как давно все это было,— подумал Захаров.— Как сложилась ее судьба? Где она сейчас? Жива ли?»

Когда за окном медленно проплывало здание вокзала, он, к своему удивлению, почувствовал легкое волнение. Захарову опять повезло: состав прибыл на первый путь, можно будет выйти на привокзальную площадь, посмотреть по сторонам и увидеть близкие сердцу улицы и дома. Конечно, никого из знакомых уже не встретишь, а, если и встретишь, то ни ты их не узнаешь, ни они тебя.

Он вышел из вагона. Холодный ветер кинулся ему на грудь и заставил застегнуть куртку. В глаза сразу бросилась целая армия шумных продавцов, которые судорожно метались от одного вагона к другому, надеясь найти покупателя для своего товара. В их руках чего только не было: копченая рыба на подносах, пиво, консервированные овощи, сухофрукты, домашняя выпечка, рыбные котлеты, пуховые платки, шерстяные носки и варежки... Но, как и раньше, больше всего было копченой и сушеной рыбы, оно и понятно — рыбный край. Высыпавшие из вагонов пассажиры покупали в основном именно рыбу. Разноголосые продавцы расхваливали свой товар, и чаще всего доносились слова «сом», «судак», «лещ», «балык».

Пока Захаров шел по перрону к зданию вокзала, его настигло неприятное известие. По радио объявили, что в связи с опозданием их поезда стоянка будет сокращена. «Вот те на! Значит, далеко от своего вагона отходить нельзя». Захаров развернулся и медленно пошел к своему тамбуру, теперь уже внимательно вглядываясь в лица продавцов.

Одни из них задорно рекламировали свой товар. Другие нерешительным тоном просили купить что-нибудь, и в этом было что-то унижительное для них. Менялись лица, мелькали товары. И вдруг одно лицо среди продавцов показалось Захарову знакомым. Он подошел поближе и стал пристально рассматривать худощавую женщину примерно его возраста. В руках она держала поднос, на котором поблескивала какая-то копченая рыба. Одета была довольно бедновато: старая видавшая виды куртка с засаленными рукавами, потрепанная вязаная шапочка, из-под которой просматривались редкие седые волосы, на ногах — башмаки непонятного цвета со стоптанными каблуками. «Не может быть!» Но чем дольше Захаров смотрел на это лицо, тем больше убеждался, что это его Таня, Танечка. Вот и та самая еле заметная родинка на правой щеке. «С ума сойти! Она!» Захаров вплотную подступил к женщине, которая не обращала на него никакого внимания, а пересчитывала только что полученные деньги за проданную рыбу. Захаров взял ее за локоть и, когда та повернула в его сторону голову, все еще не веря своим глазам, нерешительно сказал:

— Танечка, здравствуй...

Женщина недоуменно смотрела на него несколько секунд, и вдруг в ее глазах вспыхнуло радостное возбуждение.

— Юра! Неужели это ты!? Столько лет...

Захаров неуклюже обнял Татьяну и поцеловал в щеку. При этом он ощутил дрожь в ее теле. Мешал этот дурацкий поднос, который она держала в руках, и резкий запах копченой рыбы.

— Да, воды много утекло. А у меня все-таки была, была надежда; правда, очень маленькая, что я здесь увижу кого-нибудь из нашего класса... И вот, видишь, угадал. Ну, расскажи, как ты живешь? Есть ли муж, дети, внуки?

— Как живу? — Татьяна никак не могла справиться с волнением.— Вот, рыбой торгую. На учительскую пенсию-то далеко не уедешь. А тут надо еще дочери помочь.

— А муж, муж-то у тебя есть?

— Был.— Она махнула рукой.— Всю жизнь нервы трепал своим пьянством. Умер три года назад. А сын живет в Волгограде, приезжает редко, у него там свои заморочки.

— Давай отойдем куда-нибудь в сторонку,— Захаров взял у Татьяны поднос с рыбой и, сделав несколько шагов, поставил его на большой фанерный ящик.

— А я о тебе много раз вспоминала, по-доброму вспоминала. Как ты-то живешь?

Ложь сглаживает острые углы, и он ответил:

— У меня все хорошо... А как наш класс? Все живы?

— Обо всех не знаю, встречались как-то лет тридцать назад... Знаю только о тех, кто живет здесь, в Котельниково. Володя Бачалов был у нас председателем районного суда, спился, умер пять лет назад. А жена у него Любка Житецкая. Помнишь, с тобой когда-то за одной партой сидела? Тоже спилась. Два сына у них, и оба — наркоманы...

— Какой кошмар! Да что у вас тут делается?

— Да то же, что и по всей России... Лидка Кудышкина до сих пор преподает в нашем техникуме. Мишка Огурцов работает сварщиком. А Сережка Семенов где-то там, на канале электриком.

Захаров слушал ее, смотрел на глубокие морщины худого лица, на неухоженные руки, на подергивающиеся от холодного ветра плечи и жалость к когда-то любимому существу зашевелилась в его сердце. Он купил у проходившей мимо них торговки суммой дорогой пуховый платок и накинул его на плечи Татьяны.

— Это тебе на память о нашей встрече.

— Да ты что!? Такая дорогая вещь...

— И не спорь, не обижай меня. Прошу.

— Ну, тогда спасибо тебе огромное. Я бы за такую цену никогда не купила,— и она поцеловала его в щеку.

Объявили посадку. Захватив поднос с рыбой, они пошли к вагону. В бумажнике Захарова лежала немалая сумма, он очень хотел дать Татьяне денег, чтобы она не стояла тут, не мерзла. «Но она их, скорее всего, не возьмет,— подумал он,— да и эта выходка может оскорбить ее».

— А как Раиса Ивановна, наша классная, жива?

— Жива. Но у нее был недавно инсульт, она очень плохо передвигалась. Теперь она в Волгограде у дочери. Как сейчас — не знаю.

— Поезд отправляется, заходите в вагон,— послышался голос проводника.

Юрий передал поднос Татьяне и, вздохнув, сказал:

— Увидишь наших, всем от меня привет и наилучшие пожелания...

Подгоняемый проводником, он поцеловал замерзшую холодную руку Татьяны и поднялся в тамбур. Вагон вздрогнул, и сердце Захарова трепыхнулось и защемило. Его детская любовь стояла со своим неразлучным подносом и тихо всхлипывала. На ее плечах красовался большой белый пуховый платок. Вдруг Татьяна рванулась к закрывающейся двери, и он услышал ее последние слова:

— Юрочка, спасибо тебе за все! Слышишь, за то, что ты был в моей жизни!...

...Не снимая куртки и фуражки, Захаров в одиночестве сидел в своем купе. На столике лежала книга. Читать ее не хотелось. Дорога утомляет, особенно если это дорога жизни.

Ефим Гаммер
(г. Иерусалим, Израиль)



МЕЖДУ ДВУХ КАПИТАНОВ*

* * *

Кто бы что думал, а мне по барабану. Загребаю веслами под музыку жизни, поплеываю за борт и чувствую себя прирожденным капитаном. Я не ошибся, сказав — «прирожденным». Дело в том, что в капитаны я произвел себя самостоятельно в неразумительном возрасте прорастания молочных зубов, когда Юлька притащила к нам в штаб сверкающие на солнце погоны мужа ее старшей сестры Майи. Он перешел в майоры, и все золотые украшения его плеч с одной продольной полоской оказались не востребованными больше. Выбросить жалко. Подарил Юльке для кукольного домика. Ну, и в результате мой отряд превратился в офицерский полк. Я капитан, все остальные лейтенанты.

— Честь имею!

— Так точно!

— Запевай!

Я и запел, подхваченный волной воспоминаний:

— Вьется, вьется знамя боевое.

— Командиры впереди,— подхватила Милка-копилка, соседка по коммунальной квартире, игриво указывая на меня пальцем.— Солдаты, в путь, путь, путь.

— А для тебя, родная, есть почта полевая.

— Что за Полевая? — загримасничала подружка, цепляясь к нормальному слову.— Жена Полевого?

— Какого Полевого?

— Бориса. «Повесть о настоящем человек». Пора тебе переходить на отечественную литературу, читать про подвиги безногих людей, а не про жизнь Мопассана. Знаешь хотя бы, как он жизнь кончил?

— Роман?

— Не роман, а свою жизнь. Романов с девушками у него было достаточно, и все удачные. А жизнь одна, и совсем неудачная.

— Скажешь... Писатель с большой буквы.

— А жизнь закончил в сумасшедшем доме.

— Врешь!

— Это твоей училке я врала, что тебя нет дома. А тут — чистая правда, как в кино, когда артисты под видом верующих говорят: «Ей Богу!»

— По-нашему, на языке пацанов из Старой Риги: «Зуб на отруб!»

— Зубов много — это не клятва. А Бог один.

— Можно подумать, ты с ним лично знакома.

* Главы из романа.

— Не думай, это тебе вредно. Лучше греби сильнее, а то мы за разговорами и к ночи не доедем до места.

— Какая ночь, Милка? Посмотри вокруг: солнышко светит, птички поют.

— Какие птички, Фима?

— Хорошо, обойдемся без птичек. Но солнышко светит?

— И в этом, конечно, твоя заслуга,— вернула вредная девчонка.

— Не язви! Дал бы тебе «леща», да руки заняты. Я имею в виду, что по календарю сентябрь, стало быть, осень, а на улице разгар лета.

— На реке.

— Искупаемся?

— Дурак!

— Почему?

— Раскачаешь лодку — перевернемся.

— Тогда давай порыбачим.

— Умаялся?

— Передых и Илье Муромцу на пользу.

— Иначе не набрался бы сил, чтобы задушить Соловья-разбойника.

— А что? Целоваться с ним?

Я размотал удочки, отщипнул хлебную мякоть от бутерброда с колбаской, смял в лепешечку, покрутил в пальцах, пока не образовался шарик. Нацепил его на крючок. И — ловись рыбка, большая и малая.

Разумеется, не на щуку и окуня устроил охоту, они от такой приманки нос воротят. А вот плотвичка, уклейка, карасик — те охотно бегут на нехитрую эту приманку. Вкус к пище у них человеческий. Смешно? Чего же тут смешного, если по учебнику биологии все земные твари вышли из моря на заре эволюции?

Исходя из этой логики, и мы, человеки, произошли от рыб. Хотелось бы, от акул. Но, скорее всего, от плотвичек, уклеек и карасиков — тех, кто донную травку жует и хлебными крошками, чудесным образом, как манна небесная, падающими сверху, подкармливается.

Поплавок медленно поплыл по течению, легко подпрыгивая на ряби мелких волн. Милка наблюдала за ним, и задумчиво жевала докторскую колбасу, по цвету сходную с ее вьедливым язычком.

— Чего хлеб не берешь?

— Так вкуснее.

Вероятно, она произошла от акул.

Не клевало. Это я, вместо рыбы, пошел клевать носом. И вдруг — рывок. Что за черт? Удочку потянуло из рук, будто кто-то дернул за леску, причем без хитрости, положенной травоядной рыбешке на завтрак, обед, ужин, а по-звериному: зло и напористо.

Э, нет! Врешь — не уйдешь! Раз попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети. Не птичка, понятно любому в этой ситуации, а рыбка. Но переписывать каждый раз поэтов на свой лад обстоятельства не позволяли.

— Подсекай! — кричала Милка, втыкая пальцем вываливающиеся изо рта красные лоскутья докторской колбасы. И впрямь, ни дать — ни взять, акула дней моих печальных, подружка юная моя.

Я подсек, и потащил нечто мощное, сопротивляющееся, твердившее «не хочу!» на своем подводном языке, значит, беззвучно.

Потащил и вытащил.

Вытащил и вытарачил. Что? Глаза. Свои, естественно. Хотя... И рыба вытарачила глаза. С диким удивлением мы взирали друг на друга, будто догадывались: здесь

не сумасшедший дом и следовательно подобной свиданки произойти не могло. Это то же самое, что пойти на фильм «Два капитана», а попасть на документальный фильм о Хрущеве, который предлагает засеять всю страну кукурузой — от Сочи до Норильска.

Рыба жадно открывала и закрывала рот, будто пыталась что-то объяснить ново-явленному Емеле-счастливцу. Но мне и без объяснений было ясно: не по ней приманка из хлебного катыша, даже смажь его медом. Это ведь щука — не карась. И весит, полагаю, больше двух кило, а не полста грамм. Как же эта матерая хищница обмишурилась с адресом, поспешила на крючок с хлебным катышем? Ошибка природы? Однако училка биологии, упирая на академика Павлова, утверждает: природа не ошибается. Природа — нет, а кто — да? Не подстава ли это хитрая? Подобные выкрутасы с богатым уловом я видел в кинокомедии «Драгоценный подарок». С Марией Мироновой и Риной Зеленой в главных ролях.

— Розыгрыш? — поднял я щуку, крепко ухватив ее поперек тела, чтобы не выскользнула.

И она охотно кивнула.

— Гляди, Емеля, еще заговорит, — засмеялась Милка, по своему девичьему происхождению не догадывающаяся, что произошло нечто, чего не бывает в натуре. — Попроси у щуки печку на колесиках, чтобы по улицам ездить. Машину все равно водить не умеешь.

— Лучше подводный корабль с капитаном Немо впридачу, — откликнулся я первым попавшимся, чтобы не глотать насмешки. И когда? В минуту высокого рыбацкого счастья. Прежде Нептун не одаривал меня столь невероятной добычей. Ершики — да, окушки — да, всякая мелкая тварь — пожалуйста, наполняй ведро. Но такого? И, главное, кто поверит, что поймал не на живчика? Парадокс! Выложишь правду: «на хлеб» — засмеют. Совершь: «на блесну» — пожмут плечами: «подумаешь, на блесну и я поймаю». Что тут скажешь?

— А ты не говори, — произнес кто-то по правую руку от меня, будто угадав мои мысли.

— Смотри! — ахнула Милка.

Я повернул в направлении ее «аха».

Над бортом всплыло смуглое девичье личико. В синих, миндалевидного разреза глазах — смешинки, волосы льяные, дисгармонирующие с оттенком кожи.

— Зажарь рыбу и приглашай на ужин.

— Ты нацепила ее на крючок?

— Для приятного знакомства.

— Чего ради?

— Ты Гогин брат?

— Двоюродный.

— А он у нас ходит в передовиках.

— У кого это, «у нас»?

— На «Орионе».

— Можно подумать, ты капитан.

— Капитанша.

— Чего-чего?

— Капитанша. Дочь капитана.

— А по имени?

— Альяна.

— Красивое имя.

— Двойное. Аль и Яна.

— У меня тоже двойное! — не стерпела, ревностно вмешалась Милка-копилка, видя, что все мое внимание переключено на постороннюю девочку, притом, не из нашего двора.— Даже больше,— продолжала бахвалиться,— тройное-четвертное. Для взрослых я Людмила, для детей Люда или Мила. А для Фимы иногда Милка-копилка. Вот так! — и высунула острый язычок цвета слопанной ею колбаски.

— Не надо обижаться,— примирительно сказала Альяна.— Я слышала от Гоги, что у Фимы имя еще более многозначительное.

— Не придумывай! — артачилась Милка.

— Я не придумываю. Фиму назвали в честь Гогиного отца, когда тот умер. А раньше, до той смерти, Фиму звали Марик. Но это по-русски. А на еврейский манер Фима — это Эфраим или Хаим, а Хаим в переводе — это жизнь. Продолжить?

— Вот те раз, и тут «продолжение следует», как в «Пионерской правде».

— Первое Фимино имя Марик тоже с секретом. По-еврейски это Мордехай. А Мордехай был дядей царицы Эстер.

Милка-копилка взглянула на меня с каким-то странным выражением лица. Наверное, заужала.

Альяна укрепила подбородок на кисти руки, взявшей «под локоток» уключину.

— С помощью дяди Мордехая царица Эстер спасла в древности еврейский народ от уничтожения. В честь этого события учредили народный праздник. Пурим называется. Правильно я говорю? — спросила у меня.

— Правильно. Но я пока еще не дядя. А ты не племянница. Залезай в лодку, не то замерзнешь, и двинем дальше.

— На веслах нам тащиться, как черепахе для откладки яиц через весь океан.

— У тебя мотор?

— У меня лямки. Держи.

Альяна покрутилась вокруг оси, разматывая бечеву на широком кожаном поясе. Затем перекинула мне шлейку, внешне обычную, вроде как от мужских подтяжек для поддержки штанов, но более упругую и заканчивающуюся опять-таки кожаным ремнем армейского образца.

— Застегнись, там есть дырочка для худюков, и поехали.

— А буксир?

— Не боись, меня прислали на замену.

— Надорвешься!

Незнакомка пожала плечами, в воде получилось это довольно уморительно. Для меня, но не для Милки.

— Если хочет, пусть надрывается, мне не жалко! — встряла она.— Наверное, придумала, что тут собственной персоной сидит художник Репин. Больно ему нужно писать вторую картину «Бурлаки на Волге». Ему и за первую премии не дали.

— А мы не из бурлаков на Волге, мы из русалок Рижского залива,— загадочно ответила Альяна и, поднырнув под нос лодки, поволокла нас по речной глади.

* * *

Щука билась на дне нашего ковчега.

Милка-копилка придавливала ее ногой, чтобы не выбросилась за борт.

Я загребал веслами, помогая Альяне тащить суденышко вдоль берега по течению Даугавы.

— Ходко идем.

— Как на свидание,— откликнулась напарница.

— А тебе уже назначали?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

— Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела,— ответил я песней.

— Дома тебя с ремнем ждут.

— Это еще почему?

— По кочану! А если нашинковать и замариновать, то получится кислая капуста, и угощайся.

— Милка! Что ты такая колючая сегодня?

— А ты не заметил, как эта блондинка на тебя смотрела?

— Двумя глазами. А что?

— Ничего. Это она как будто прибежала на свидание...

— Приплыла,— поправил я.

— Не перебивай! Прибежала — приплыла, это ничего не меняет. Спрашивается — зачем?

— Ну, так спроси.

— Она далеко, не дозовешься. И плывет не по нашему, как-то неправильно.

— Не по-собачьи, как ты?

— Ишь, какой умник нашелся! Открой глаза на затылке, а я тебе подсвечу.

На затылке, само собой, запасных глазен у меня не имелось. Пришлось смотреть через плечо. Раз оглянулся, другой. Да, не кроль, не брасс. Руками не машет, а держит их впереди себя, наподобие форштевня, и режет воду не хуже. Нечто похожее по стилю я видел на уроках подводного плавания в клубе ДОСААФ папиного завода № 85 ГВФ, когда показывали документальный фильм «В мире безмолвия» об аквалангистах из команды французского океанографа Жак-Ива Кусто. Но там они погружались в морскую пучину с аквалангами и ластами. А здесь?

— И чего она притащилась? — Милка продолжала играть в непонимайку.

— Гога попросил.

— Ты ему звонил?

— Звонил.

— Я бы тебе советовала держаться от нее подальше.

— Она и так далеко.

— Это на реке далеко. А на берегу, когда пожарим рыбу?

— Пожарим — съедим.

— А не отравимся?

— Да перестань ты, совсем рехнулась.

— Кто? Я? А не ты? Только о ней и о ней!

— Это тебе она покоя не дает. Мне-то что? Одна девчонка, две девчонки. Какая разница?

— Поговори мне еще про двух девчонок, и я заверну твои намерения в обратную сторону.

— Стой! Не дури! — вспыхнул я, видя, что она готова дать «право руля».

Мелкие чертики в ее зрачках бросились в атаку с вилами наперевес. Но, не долетев, были смыты порывом ветра.

Я засмеялся. Она засмеялась. А чертики в растерянности чертыхнулись и пошли кормить рыбу.

«Чмок-чмок», послышалось за бортом, и на поверхность всплыли пузырьки воздуха.

— Жор! — сказал я заветное слово рыбаков, обещающее шикарный клев, который начинается ближе к вечеру.

— Забрось удочку.

— На ходу ловить не получится.

— Плохому рыбаку знаешь, что мешает?

Не вникая в ее двусмысленности, я сказал:
— Скорость.
— Не скорость, а занятость твоей дельфинихи.
— Почему?
— По калачу! У нее нет лишних рук, чтобы прицепить тебе на крючок вторую шуку.
— Хватит и одной.
— Наконец-то!
— Что?
— Наконец-то сказал «одной»! Хватит и одной. Но уточню, девчонки! — Милка укоризненно погрозила мне пальцем и победоносно задрала нос с едва заметными на закате летнего сезона веснушками.
Вот дурь ненаглядная, подкузьмила все-таки меня.

* * *

Опрокинутый мир...
Ничего более разумного не приходит на ум, когда видишь, что видишь.
А вижу... Лучше бы вам этого не видеть. И не увидите. Не в телевизор смотрите. А я смотрю, и будто бы в телевизор, через выпуклую линзу, полную воды. Представьте себе, в глазах странная рябь, и пощипывает их, пощипывает, словно слезы — это махонькие ежи, которые перекатываются на иголках, делая тебе больно. И где? В глубине сердца.
— Господи! — слышу болевой возглас Милки.
— Господи! — дышу через раз, забыв тягать за «бурлацкий» поводок наш живой буксир на береговой песочек, где уже плотно сидела лодка.
Господи...
Началось это, как детская шалость, а закончилось со слезами на глазах. Нет, с Альяной ничего не приключилось. Случилось со мной. В тот момент, когда я вытаскивал за веревку девочку на отмель, и она поднялась на ноги. Поднялась и неестественно улыбаясь, молвила:
— Показать вам, как скачет кенгуру?
Какие кенгуру?
Причем здесь кенгуру?
Не Сидней — Рига!
Но...
Альяна скакнула раз, скакнула два и выпрыгнула из воды, так и не сделав ни одного шага. Все скачками, скачками...
Тут и пришло время слезам, тиснению в сердце и всполошенному: «Господи!»
У нашей русалки были сросшиеся ноги. Ступни, соединенные пятками, развернуты под углом. Чем тебе не ласты? Теперь становился объяснимым стиль плавания и та тягловая сила, с какой она волочила за собой нашу посудину.
— Не смущайся, — сказала Альяна, допрыгнув до меня. — Ради первой встречи разрешается и обморок.
— Еще чего!
— Тогда подсоби, позволь перебраться в кресло морской царевны.
Милка-копилка среагировала быстрее меня. Она подсунулась под левую руку Альяны, сунула шею ей под мышку, перехватила за кисть. И позвала меня.
— Хватит зевать, дельфины тоже домой хотят — кушать.
— Мой дом — «Орион».
— Мы не против, поехали на «Орион».

Я подхватил Альяну под правую руку и, подправляя шаг под ее прыжки, мы двинулись к самодельной коляске на двух велосипедных колесах, третье — спереди, под хромированным рулем с блестящим на солнце звоночком.

— Ты будешь за рикшу, — распорядилась Альяна.

— Я могу крутить педали не хуже его, — вызвалась в добровольцы Милка-копилка.

— Ты мой гость, наподобие купца Садко, — ответила Альяна, стремившаяся, судя по всему, сгладить наши впечатления и вернуть в нормальное расположение духа.

— Но я не играю на гусях.

— Зато хорошо заговариваешь зубы.

— Это бабушка моя — заговорщица зубов, вернее, зубной боли. Я их вышибала.

— «Вышибала» в ресторане, — поправила Альяна, с нашей помощью усаживаясь в коляску. — Так Гога говорит.

— Гога в этом толк понимает, — согласился я. — Его самого приглашали «вышибалой» в ресторан.

— Это еще почему? — спросила Милка.

— Из-за внешнего вида. Нос у него — лепешкой, сплюснутый, как от удара в боксе.

— Да, такой нос страх наводит...

— На тех, кто не понимает...

— Что он добрый?

— Нос?

— Гога! — засмеялась Альяна, догадываясь, что гнетущее чувство из нас малопомалу улетучивается, и мы уже воспринимаем ее увечье без внутреннего содрогания. — Я тоже добрая и совсем не несчастная. У меня просто русалочья болезнь. Нужна операция. Или вмешательство неведомых врачам сил.

— Каких-таких «неведомых»? — обернулся я, взобравшись на кожаное сидение от велосипеда.

— Говорят, медицина не всесильна.

— Наша — впереди планеты всей.

— Кто сказал?

— Я сказала, — призналась Милка.

— Можно обойтись и без медицины, — произнесла Альяна.

— Это как же?

— Это должен знать Фима.

Девочка испытующе посмотрела на меня.

— Я не совсем понимаю, о чем ты, — замялся я.

— Гога говорил, что ты из породы русалиев.

— А по-русски?

— Русалии — это нормальные по внешности мужчины, на двух ногах и без хвостов. Но с непременным отличием: они способны волшебным образом исцелять от русалочьей болезни.

— Но то — мужчины. Я еще не дорос по возрасту.

— Гога говорил...

— Сколько тебе лет, Альяна, что ты такая доверчивая?

— У женщин не спрашивают.

— Ах, ты, «у женщин не спрашивают». А мне скрывать нечего. Конечно, я и в свои тринадцать в полном соку, как Карлсон, который живет на крыше. Но до паспорта еще — как до Луны. А мужчин, к тому же докторов, без паспорта не бывает.

— Я имею сведения, что ты и без паспорта можешь. Гога, когда вез меня сюда на этом драндулете, говорил: «Возьмешь курс на него — не ошибешься, сразу полегчает».

— В этом он не ошибся. Со мной говорить — не лодку тягать.
— Да она в тебя влюбилась еще до первого взгляда! — ляпнула Милка и запнулась.— А я-то думала, чего она махнула навстречу?
— Гога говорил...
— У него язык без костей. Мало чего придумает! А я скажу другое: Фима, за руль, и крути педали! Пора разобраться с этим... твоим... я ему язык вырву и зафарширую!
— А шуку?
— Шуку зажарим, или — на уху. Я прибрала ее в газету, где бутерброды,— Милка показала сверток.
— А бутерброды?
— Не жадничай. Они там, где тебе не достать,— постучала кулаком по животу.— Крути педали!
Не ослушаешься. Принцессы. Одна — морская, вторая — домашняя, и обе пристроились за моей спиной, откуда командовать легче.

* * *

На причале «Ориона» не было.
Что да как? А вот так!
Береговой боцман дядя Каюк сказал:
— Получили телефонограмму. И сорвались с места. Где-то там, у острова...
Подозрительно посмотрел на меня: разглашать ли координаты?
— Что за шпингалет-авторитет?
— При нем можно, дядя Эдмунд! — Альяна поспешила заверить его в полной моей благонадежности: Фима — брат Гоги.
— А принцесса с бантиком?
— Его соседка за стенкой.
— Ну, если за стенкой,— благодушно произнес боцман.
— Но не пристеночная! — заявила Милка, чтобы о ней не подумали чего плохого, о бантике уже подумали, хотя у нее не бантик, а ленточки в косичках.
Боцман почесал шкиперскую бородку, с любопытством взирая на девчущку. Он не очень-то разбирался в дворовом сленге, гораздо понятнее звучали для морского волка слова: «шкоты», «румпель», «клотик». Но что поделаешь? Надо привыкать к «сухопутным» прелестям жизни, одна из которых — дети.
— Так на чем я остановился? — спросил у Альяны, потеряв из-за Милкиных замечаний нить разговора.
— На острове.
— Остров Рухну. Там внезапно вспучило грунт. Вулкан, что ли, прорезался. И это в наших краях?
— В июне была такая же история, дядя Эдмунд. В том самом месте.
— Была, но ничего не нашли.
— Да-да, зря ходили. Дно ровное, никакой вспучки. А гнали нас туда: «Скорей! Скорей! С неба что-то просматривается, вроде огромной глыбы!»
— Это могла быть вражеская подводная лодка, лежащая на грунте.
— Тогда подняли бы по тревоге военных моряков. Чего зря гонять нас, гидрологов?
— Мы тоже в определенном смысле военные, с пропуском в нейтральные воды и на острова, где наши базы. Но что есть, то есть: лодку запеленговали бы уже задолго до подхода к Рухну. Выходит, и впрямь там вулкан нарождается.
— Говорили, что по ночам даже светится.

— Вот бы посмотреть, как эта штука бабахнет! — вслух размечталась Милка.
— Хочешь? — хитро улыбнулась Альяна.
— А то нет!
— Это мы по дружбе устроим.
— А не врешь?
— Зачем мне врать? Вот если бы я сказала, что готова бежать с тобой на перегонки, тогда — да, врушка. А так — нет! Дай сползти с царского трона. И убедишься.
С помощью боцмана Каюка мы перевели нашу русалку на бетонный причал.
— А теперь куда?
— Теперь? — она положила руку мне на плечо. — За Кудыкину гору — к нарождающемуся вулкану. Смотреть, по просьбе трудящихся, — стрельнула взглядом в сторону Милки. — Как он бабахнет.
— На чем поедем?
— Это сухопутные мальчишки говорят: «поедем». Морские говорят: «пойдем».
— От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
— И курс тоже, — не удержавшись, приснула Альяна, полагая, что покажет нам такое, отчего глаза вылезут из орбит. — А курс у нас на моторную яхту. Вот эту — «Селена», что пришвартована к причалу. Видите?
Онемев, мы кивнули разом.
— Тащите меня на мостик, и — семь футов под килем!
— Полный вперед, — пробормотал я.
— Полный ясец, — проворчала Милка. — На этом тебя и купят.

* * *

Кому как, но море мне не по колено. Другое дело, мелкая волна. Правда, на воде стоять я не обучен. Мое место маленькое, под мой рост, в капитанской рубке подле штурвала. Да-да, подле. А не «за». За штурвалом Альяна. Ей и крутить эту рогатую штуковину, но — вот ведь странность! — не крутит. Более того, поясняет мне — почему:

— Судно рыскать начнет.
Умничка... Нет, чтобы сказать по-русски: корабль. Говорит: «судно». И опять поясняет, будто неслуху.
— В военном флоте — «корабль», в торговом, рыбном, просто, гражданском — «судно». «Рыскать» — это в переводе на твое понимание...
— Вихлять?
— Растешь, — с нарочитой уважительностью произнесла капитанша.
— А идти ко дну?
— Амба или каюк!
— В согласии с фамилией боцмана?
— Дядя Эдмунд из-за своей фамилии намучился.
— Не хотели брать на судно?
— На корабль. Он служил в военном флоте. На подлодке.
— Потонула?
— Пошла ко дну, — поправила Альяна. — Учи морской язык.
— Сделаем ходку — научусь.
— Рейс.
— Хватит тебе! Лучше скажи, что случилось с его подлодкой? И когда, если не секрет?
— Чего тебя так закомпасило?
— Понимаешь, в этих местах в сорок первом погиб на подлодке мой двоюрод-

ный брат Леонид Герцензон. У нас никаких подробностей. А тут... Вдруг вместе воевали?

— Как звали подлодку, не помнишь?

— «Щука».

— Они все «щуки». Какой номер?

— Триста какой-то.

— Трехсотых на Балтике здорово потрепали. Папа рассказывал. Он лейтенантом ходил на 310-й «щуке», дядя Эдмунд был у него старшиной. А до этого дядя Эдмунд ходил на первом номере из серии, пока не подорвались на mine.

— Подробнее нельзя?

— Подробнее — он. А пока... Что мне известно? Совсем немного.

Разумеется, и я узнал немного.



Сергей Криворотов
(г. Астрахань)

ЕГО НЕЖНОСТЬ



Врач-кардиолог. Литературной деятельностью занимается с 2011 года. Автор свыше 270 литературных публикаций в периодике России и русскоязычных изданиях Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Финляндии, Германии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Израиля, Чешской Республики с тиражом около 4000000 экз. Серебряный лауреат Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номинации «Сказка» (2006 г.). Серебряный призёр литературного конкурса журнала «Нива», город Астана, Казахстан. (2010 г.) в номинации: короткий рассказ.

Едва стоило ему ее увидеть или только подумать о ней, как он тут же испытывал просто невыносимую нежность. Он лелеял и окучивал внутри себя это чувство, и когда оно достигало совершенно неизмеримых габаритов, привычно заглушал его приемом литра-другого пива с прицепом из водки или коньяка. Не эстетично, но действенно.

Вроде бы взрослый разумный мужичка, вовсе не дурак и даже не глупый, а вот надо же... А казалось, чего проще: просто подойди и признайся в своих чувствах! Да и примеров такого изъявления перед глазами видимо-невидимо — весь спектр от поручика Ржевского с его «мадам, а почему бы нам не...» до плаксивого неудачника Пьеро, персонажа французского ярмарочного театра, с нездоровыми мазохистскими и суицидальными наклонностями. Словом, бери за образец любого — не хочу. Правда, конечный результат никто не гарантирует, но зато будет четкая определенность дальнейшего, которая иногда намного дороже абстрактной свободы и независимости.

Впрочем, дело представлялось вполне понятным: не хотел он терять ощущение этой самой пресловутой нежности, хотя порой она становилась мучительной до невозможности. И снова, хотя бы для временного облегчения, приходилось прибегать к пиву-водке-коньяку. Так оно и катилось по кругу.

Видимо, не хотел он расстаться со своей ежедневно возвращаемой неопределенностью нежностью. Нередко даже избегал встречаться с объектом своего тщательно скрываемого чувства. Ни с кем не делился, а потому некому было авторитетно и прямо сказать ему, разом подбить итог:

— Экий же ты, братец, дурачина!

Всепоглощающая нежность к ней уже не оставляла никаких шансов на сходные чувства к другим. Иногда в угоду собственной физиологии ему приходилось прибегать к услугам проституток или искательниц приключений и денег из интернета, искренно считая, что следует бытовой мудрости: мухи отдельно — котлеты отдельно.

В такие моменты его нежность к ней не угасала, но как бы временно помещалась в виртуальную клетку с достаточным количеством виртуальных же воды и пропитания, чтобы не отдать концы.

Разумеется, вся эта тягомотина не могла длиться вечно, ибо нежность, будучи су-

губо внутренним чувством, подобна живому существу и без выплесков наружу, без толики свободы чахнет и умирает.

Теперь об объекте его странного влечения, к которому так и не приложилась хранимая им в заточении пресловутая нежность. Девушка была средних лет, далеко не красавица, да и косметикой почти не пользовалась. Не глупая, даже какое-то время в молодости-юности много читала вместо того, чтобы подставлять свои паруса ветрам приключений. Получила неплохое образование и стала ценным специалистом в своей профессии с соответственным заработком. Но к сути истории это ровным счетом не имеет никакого отношения, кроме того, что она была девушкой.

Один общий давний знакомый как-то цинично заметил, что «если ее прижать, как следует, к стенке, то она будет очень даже ого-го!». Но для носителя безбрежной нежности подобное оставалось неприемлемым даже после значительного употребления пива-водки-коньяка. Вероятно, что-то из соответствующих механизмов сломалось в ней еще с детства, хотя, конечно, и с ним все было далеко не в порядке. Самое время тут обвинить во всем общество, систему, прочие внешние условия, всяких там подвернувшихся «мальчиков для битья». Но оставим, возможно, праведный гнев для других случаев гораздо более злостных социальных нарывов.

У них по-прежнему шло, как шло, безо всяких изменений. То есть он растил и холил в себе нежность к ней, она продолжала свое, по большому счету никому не нужное существование.

Впрочем, для полноты картины нельзя обойти стороной и ее чувства, неглубокие, поверхностные, вялотекущие и мало другим интересные. Она к нему относилась довольно неплохо, как и ко многим другим мужчинам вокруг, не пытавшимся добиться ее благосклонности при повседневном общении. О ее сексуальных фантазиях можно было только догадываться, ведь внешних проявлений того не наблюдалось, а в секшопы она точно не заглядывала. Возможно, и зря. Впрочем, кого это интересовало?

По странной логике развития или стагнации этой, по-видимому, патологической с его стороны нежности все могло закончиться хэппи-эндом или еще чем положительным в виде, например, рождения детей или объединения имевшихся у обоих скудных материальных благ и небольших денежных накоплений. Однако, все закончилось иначе.

Его нежность, не подпитываемая ничем реальным ни с ее, ни с его стороны, в один прекрасный миг неожиданно «приказала долго жить», «крякнула», «сняла тапочки», «склеила лапы», «отбросила копыта». Странно, причиной тому послужила одна-единственная невзначай оброненная ею фраза, поступок, точнее, проступок, еще точнее, вообще бездействие с ее стороны.

Как-то он пришел к ней с твердым намерением наконец поступить, если не в духе поручика Ржевского, то уж никак не в стиле жалкого Пьеро.

Ее престарелая больная мать с красноречиво близким к апоплексическому удару видом корячилась на четвереньках, намывая деревянные ступени высокой входной лестницы. Крупные бисерины пота покрывали багровое от прилившей крови напряженное лицо пожилой женщины. На его несмелое приветствие она лишь протянула мокрую тряпку вытереть подошвы обуви и заверила, что дочь находится дома. Он нашел объект своей патологической нежности в дальней комнате лежащей на диване с высоко пристроенными на его мягкой спинке ногами.

Включенный телевизор приглушенно лопотал что-то невразумительное и никому не нужное. Коробочка с шоколадными конфетами рядом оказалась наполовину пустой. Она безмятежно улыбнулась и выпустила книгу из рук.

— А ты читал Борхеса?

И тут его нежность резко и бесповоротно умерла, совершенно беззвучно, как и жила до того в нем.

Анатолий Карасев
(г. Владимир)

ГОСТЬ



Окончил исторический факультет Владимирского педагогического института. Работал грузчиком, снабженцем. Писать начал в 2012 году. Женат, воспитывает троих детей.

Мария Петровна Болотова, вдова семидесяти трех лет от роду, занесла в избу охапку дров, с грохотом свалила их у печи и бессильно опустилась на лавку. На улице третий день лил холодный ноябрьский дождь, грозящий в скором времени перейти в снег, природа печально склонила голову в покорном ожидании зимы, а на душе у Марии Петровны от этого ожидания было совсем темно. С тех пор, как три года назад умер ее муж — Иван Николаевич, эта чернота стала ей привычной. Мария Петровна прожила большую трудовую жизнь и, сколько себя помнила, никогда не унывала, но в последнее время — ну, просто одолела тоска подколотная! Да и как не затосковать — осталось их в деревне три древние старухи: она, Наталья Андреевна, да Серафима Ивановна, а с ними какое веселие — одно расстройство. А тут, как на грех, и Ваня — последняя живая душа рядом с ней, и тот ее покинул. Только сейчас Мария Петровна поняла, что он значил для нее. Корила себя, что часто неласкова с ним была, попереку слово молвила, бранила со зла... Теперь что угодно бы она отдала, чтобы Ваня с ней хоть минуточку просто посидел, помолчал. Сама бы ему и рюмочку налила, за которую ругала раньше, — дура. Она как-то никогда не задумывалась, а была ли у них с Иваном Николаевичем любовь. С детства ведь все в работе, некогда им было молодость свою гулять, да и время стояло тяжкое, послевоенное. Глянулись они, конечно, друг другу, хотя красавцами никогда не были. Ваня — лицо бубликом, нос картошкой, она тоже — девушка не особо приметная была. Больше то их судьбу родители решали: заслали сватов, ударили по рукам, сыграли свадьбу — дело житейское сотни лет — все по одной колее. А на редкие в своей жизни вопросы про любовь Мария Петровна всегда отвечала, целомудренно потупя взор: «Человек он хороший...»

Иван Николаевич, и правда, был мужик спокойный, рассудительный, хозяйственный, а самое главное — малопьющий. И было у них с Марией Петровной, как и у многих наших недавних еще предков, чувство гораздо более проникновенное, чем то сюсюкающе мимолетное и пустоцветное, что сейчас называют любовью. Глубочайшая сердечная привязанность без всяких, однако, внешних проявлений незримой и несокрушимой основой пронизывала жизнь этих людей, соединяя их души и тела настолько прочными узами, что даже мимолетная разлука казалась невыносимой. Чтобы взрастить в себе такое чувство, нужно было только одно условие — добрый нрав. Именно таких людей воспитывала веками святая русская деревня, посвященная Евангельской чистотой. Но где та деревня?.. И где те люди?.. Последние из последних доживают свой скорбный век в полуразвалившихся избенках.

И век этот без Вани стал для Марии Петровны совсем постылым. Особенно зимы. Летом к соседкам приезжали дети, внуки, и умирающая деревня на короткое время оживала, как пустыня после дождя. Малышня обожала Марию Петровну и частенько сбегала к ней от своих суровых бабок, что было для нее великим утешением. Она баловала детишек, как только могла, и сквозь пальцы смотрела на все их шалости, чем приводила в неудовольствие Наталью Андреевну и Серафиму Ивановну. «Ох, Петровна, испортишь ты нам внуков!» — ворчали они, растаскивая по домам упирающихся и ревущих чад, которые через малое время снова оказывались в избе у обожаемой «бабы Мани». Смотря на это неугомонное и непоседливое племя, Мария Петровна с неизбывной, давней болью вспоминала и своего ненаглядного Васю. Одного единственного сыночка дал им с Ваней Господь, и тот недолго радовал родителей. Семи лет от роду пошел он с ребятами на речку купаться, да и утоп, сердечный. Затянуло его в омут бездонный, через три дня только нашли... Помнит она, ох, помнит, тот июльский, солнечный денек... Как умом тогда не тронулась — сама потом всю жизнь удивлялась. Иван-то тоже весь усох от горя. И сейчас, за то еще не любила Мария Петровна зиму, что в этой зимней тоске все чаще и чаще стал ее Василек приходить к ней во сне. Так и видит она его белобрысого, в застиранной клетчатой рубашечке, убегающего от мамки в вечность по пыльной проселочной дороге. А на пригорке, как и тогда, он оборачивается и машет ей рукой. Так прощально, так грустно... «К себе зовет, должно быть...» — просыпаясь в слезах, с печалью думала Мария Петровна. Так она стала страшиться этих снов, что боялась засыпать вечерами. И потихоньку, тонкой змейкой, стала проникать в ее голову мысль о том, что вся-то ее жизнь оказалась никчемной и пустой, и что та безысходность, в которой она сейчас оказалась, просто закономерный результат этой жизни. «Действительно,— думала она часто в последнее время,— голодное детство, колхозная ферма от зари до зари, погибший ребенок, бесплодная семейная жизнь и, в конце, одинокая, никому не нужная старость,— к чему все это, зачем? Только зря всю жизнь промаялась...». Эти черные мысли становились с каждым днем все более неотступными. К чему-то они ее звали, манили, даже подталкивали, только не могла она понять, к чему.

— Слышь, Мария! Что-то ты не нравишься мне в последнее время,— как-то раз, зашедши к ней, сказала Наталья Андреевна.— Сидишь, как сыч, в избе целыми днями, света Божьего не видишь, дошла вся. Ты чего раскисла, в самом деле? И, не дожидаясь ответа, продолжала:

— Пошли, давай, в монастырь этим воскресением! Поисповедаешься у отца Никодима, от грехов, так сказать, очистишься, глядишь и полегчает. Отец Никодим батюшка хороший, душевный, одна приятность с таким человеком поговорить.

— Вот и говори дальше! — неожиданно осерчала на подругу Мария Петровна.— А я со своими грехами сама разберусь!

— Тьфу! — плюнула в сердцах Наталья Андреевна и, что-то бормоча, отправилась восвояси.

Но стоило ей только выйти за порог, Мария Петровна тут же пожалела о своих словах и о незаслуженно обиженной соседке. «А и впрямь, что ли, сходить? Хоть посмотрю, что за монастырь такой, а то уж, почитай, два года как звонят, а я и не была ни разу»,— подумала она, и от этих мыслей стало Марии Петровне как будто даже легче. Монастырь, как рассказывали еще в ее детстве старые люди, существовал рядом с их деревней с давних времен, чуть ли ни с самого татарского ига, но в большевистское лихолетье был, по обычаю, разорен, обезглавлен и загажен. В бытность Марии Петровны существовал там сельский клуб с танцами, с кино про Чапаева, с колхозными собраниями и с лекциями общества «Знание», в которых интеллигентного вида мужчины втолковывали темным сельчанам о «мракобесах в рясах» и про «опиум для народа». Что такое «опиум», никто из деревенских не знал, и речи заез-

жих говорунов слушали, кто-то, скептически прищутив глаз, но по большей части — с полным равнодушием. Домой надо было людям к скотине и к огородам, а тут сиди, пухни! Мария же Петровна, в те редкие минуты в ее жизни, когда было время о чем-то подумать, часто недоумевала про себя: «И слово-то какое гадливое придумали — «мракобесы». Чего ж они плохого сделали? Вроде наоборот — добру и любви людей учили». А то, что это так, Мария Петровна, в отличие от многих своих односельчан, знала точно. Бабка Лизавета, жившая с ними в ее далеком детстве, знала грамоту, что редкостью было в то время, особенно для женщины. Была она сильно набожной, читала Псалтырь, еще какие-то, темные от времени, святые книги, каждый день шамкала беззубым ртом молитвы перед иконами и наставляла в вере любимую внучку Марию. А Мария была тогда еще совсем сопливым ребенком, но многие слова бабки Лизаветы с тех пор запали ей в душу. Знала она десять заповедей, «Отче наш», кое-что из Священного Писания и за что жида-злодеи Христа распяли. «Ты, девка, если в жизни тягота какая приключится, завсегда Мать-Богородицу зови», — внушала она маленькой Маше. Мария Петровна, будучи уже взрослой, часто вспоминала бабушкин завет. И звала. Правда, может, без особой веры, почти машинально, но обращаясь к Божией Матери в бедах, скорбях, да и, просто, в ежедневных каких затруднениях, вошло у нее в привычку.

А из бабкиного духовного наследства только и уцелели, что две иконы: Богоматерь «Владимирская», да еще один древний образ, такой черный от времени, что разобратить на нем уже ничего было нельзя. Про него бабка Лизавета говорила: — «У-у! Это икона старинная, нашему роду от основания дадена. Вот, только, кто на ней — сама не знаю. Ну, так что ж, пусть будет, все святость!» Так и стояли эти два образа у Марии Петровны в красном углу, украшенные нарядным рушником, который она еще в невестах вышивала. По большим праздникам зажигала она перед ними лампаду, и становилось от этого в избе сразу как-то светлее и чище. Мария Петровна любила в такие дни смотреть на образа и думать о загадочном смысле сущего. «Может и вправду есть на свете Бог?» — размышляла она, глядя на колеблющийся огонек лампы. «Наверное, есть... Кто же тогда красоту такую в природе сотворил и человеку дал разумение? Не само собой, чай, все устроилось...» Но дальше этих полусонных мыслей мировоззрение бабы Мани не расширялось. Так что верующей особо она себя не считала, в церкви никогда не бывала и монахов отродясь не видела.

И когда они с Натальей Андреевной, повязав на головы праздничные платки, отправились в воскресенье в монастырь, шла она туда с интересом и с каким-то, даже, замиранием сердца. Идти было километра два и Мария Петровна, отвыкшая уже от дальней ходьбы, к концу пути еле переставляла ноги. «Совсем ты Мария к месту приросла! Из-за тебя сейчас на службу опоздаем!» — выговаривала ей Наталья Андреевна, вынужденная всю дорогу плестись рядом с подругой. Наталья Андреевна как будто всю жизнь только и ждала открытия монастыря, и с первых дней стала самой верной прихожанкой монастырского храма, в который когда-то бегала с парнями на танцы. Она быстро тут освоилась, научилась правильно налагать на себя крестное знамение и подходить под благословение, выучила молитвы, соблюдала посты, постоянно исповедовалась и причащалась, и, даже, пару раз ездила куда-то на богомолье. Накануне она подробно объяснила Марии Петровне, что и как надо в храме делать и говорить. Когда они, наконец-то, добрались до монастыря, литургия только-только началась. Войдя в храм, Мария Петровна с изумлением оглядывала знакомый с детства сельский клуб. Только от знакомого здесь больше ничего не осталось. На месте где когда-то была сцена, теперь находился большой резной иконостас с воротцами («Алтарь», — как объяснила Наталья Андреевна). На стенах, вместо наглядной агитации, висели иконы в окладах и без, в полумраке сияло пламя свечей, все было торжественно и немного печально. Но самое главное, как только Мария Петровна

переступила порог церкви, она почему-то облегченно вздохнула. «Хорошо-то как!..» — зачарованно думала она, забыв про усталость. Исповедь уже началась, и к маленькой трибунке, на которой лежали Крест и Евангелие («Налой называется», — опять же вразумляла всезнающая Наталья Андреевна), стояла небольшая очередь, состоящая, в основном, из таких же пожилых женщин, как и они сами. Женщин этих Мария Петровна хорошо знала по работе в колхозе, который некогда объединил все окрестные деревни. И странно ей было глядеть на бывших активисток, ударниц соцтруда и строительниц светлого будущего, смиренно стоявших теперь за отпущением грехов. «Эх, жили, как котята слепые!» — скорбно думала Мария Петровна, с трепетом ожидая своей первой в жизни исповеди. Исповедовавший монах был высокий, худой, как жердь, старик, с седой бородой и пронзительными серыми глазами. «Батюшка Никодим!» — толкнула ее в бок стоящая позади Наталья Андреевна. Когда подошел ее черед, она на ватных ногах подошла к аналою и растерянно замолчала.

— Первый раз, что ли? — сурово, как показалось Марии Петровне, спросил отец Никодим.

— Первый, батюшка... — срывающимся от волнения голосом вымолвила она.

— Понятно, — вздохнув, сказал отец Никодим и стал задавать ей вопросы о грехах, присущих роду человеческому. И чем больше он их задавал, тем больше выяснялось, что Мария Петровна далеко не самый худший представитель этого рода. Некоторые вопросы казались ей немного, что ли, срамными, о некоторых грехах она и не догадывалась вовсе, что есть такие на белом свете, про какие-то ей грозно выговаривала еще бабка Лизавета, но, в общем-то, получалось, что винить Марию Петровну особо и не в чем. От мужа она не гуляла («такого не слыхано было у них»), об абортках даже никогда не думала («одного-то родила еле-еле»), с фермы комбикорм не тащила (противно ей было всякое воровство), языком чесать и обсуждать кого никогда не любила и вином, естественно, не упивалась. Ну, да, в церковь не ходила и постов не соблюдала, так и не было, куда ходить, а уж в войну и после нее напостились они на всю оставшуюся жизнь. Выслушав ее ответы, отец Никодим устало спросил:

— Все ли поведала? Ничего не утаила?

— Все, батюшка! — искренно ответила Мария Петровна, радуясь, что самое тяжелое уже позади.

Про свои черные мысли она ничего не сказала старому монаху, и не потому вовсе, что хотела их утаить. Просто Мария Петровна считала их своим глубоко личным делом, не требующим оглашения и какого-либо постороннего вмешательства.

— Смотрю я на вас, сестры, и думаю: не вам передо мной, а мне перед вами каяться надо, — то ли в шутку, то ли всерьез сказал отец Никодим и накрыл ее голову маленьким покрывальцем, висевшим у него на шее. Под ним почувствовала Мария Петровна, как ослабевает в ее душе какая-то мучительно туго натянутая струна, и по всему телу разливается неведомое, легкое блаженство. Ей захотелось, чтобы батюшка как можно дольше говорил над ней свои непонятные слова, но он откинул покрывальце и приказал: — Целуй Крест и Евангелие!

Она поцеловала, а потом сложила ладони под благословение, как учила Наталья Андреевна.

Обратную дорогу и потом целую неделю она летала, как на крыльях. Никогда, даже в молодости, Мария Петровна не чувствовала в себе такой чудесной невесомости тела и духа. Тоска оставила ее, и грядущая зима уже не казалась Марии Петровне такой мрачной, как в последние годы после смерти Ивана Николаевича. Она все собиралась снова сходить в монастырь — постоять на службе, благословиться у отца Никодима, поговорить и причаститься, как советовал он ей тогда, и снова испытать то чувство тепла и покоя, которое так тронуло ее душу. Собиралась, но почему-то так и не собралась. Каждую неделю говорила себе: «Пойду!» и... не шла. Вроде, и преград-

то никаких особых не было — просто вот так, как она себе объясняла: «Не могу собраться». То же самое она говорила и Наталье Андреевне, неоднократно звавшей ее с собой, и та, в конце концов, отступила.

А Мария Петровна и сама не заметила, как мир снова поблек, и в душу вползла ледяная, скользкая мерзость. Мрачные мысли не отступали от нее теперь уже ни на минуту, принося с собой тупую, ноющую во всем теле, апатию. Она уже не зажигала по праздникам лампаду, не звала Богородицу, ничему не радовалась и ничем не интересовалась. Не в силах противостоять одолевшей ее хандре, Мария Петровна с трудом передвигалась, и большую часть суток просто сидела или лежала на кровати, глядя в пространство. Но сегодня, свалив у печки дрова и опустившись на лавку, она вдруг поняла, что хотела от нее эта черная тоска и что надо делать. Скутав на ночь печь, Мария Петровна решила оставить в ней несколько тлеющих углей, что даровало бы ей легкую, почти приятную смерть от угара. Решив так, Мария Петровна даже воспряла духом в предвкушении вожеленного исхода. Весь тот день прошел у нее в хлопотах: она сходила на могилку, где вместе были похоронены ее любимые Иван Николаевич и Вася, и где она оставила место и для себя, слезно там попрощалась с ними, в надежде на скорую встречу, сходила в баньку, прибрала все в избе и затопила печь. Пока прогорали дрова, Мария Петровна, вся в чистом, сидела в темной избе и терпеливо ждала. На душе было пусто и жутко, но она решила не отступать и, наконец-то, разрешиться от невыносимой муки. «Пора уж, наверное», — с ужасом думала она, но почему-то медлила встать и подойти к печи. «Ну, все!» — решительно сказала себе Мария Петровна, и уже начала было приподниматься, как в дверь неожиданно постучали. Этот негромкий стук прозвучал в избе как гром небесный. От неожиданности Мария Петровна оторопела и снова опустилась на лавку. Это было что-то невероятное. К ней никто уже давно не заходил даже днем, а между тем на дворе была полночь и лил ледяной дождь, вперемешку со снегом. «Не ровен час, злой человек!» — испуганно подумала Мария Петровна и тут же горько усмехнулась про себя — в преддверии того, что она хотела совершить в ближайшее время, опасения за свою жизнь показались ей нелепыми. Деваться было некуда и она, досадуя на неожиданную заминку, поднялась, зажгла свет, подошла к двери и отодвинула щеколду. Дверь отворилась и в избу, сгибаясь под притолокой, вошел... отец Никодим.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! — сказал он, крестясь на иконы, а затем, обратившись к Марии Петровне, ласково молвил: — Ну, здравствуй, Мария! Не ждала?

От ощущения неправдоподобности происходящего, Мария Петровна в первые секунды потеряла дар речи. Немного придя в себя, она, заикаясь и запинаясь, попыталась держать ответную речь.

— Ба-батушка!.. Да, как же ты?.. Откуда? В такую-то непогодь! — суетилась она вокруг гостя, сразу позабыв про печь и про угли. Странное дело, но как только отец Никодим вошел в избу, она ощутила в себе такое ликование, какое, наверное, испытывает узник, узревший мир Божий после долгих лет заточения.— Проходи, отец, садись! Сейчас самоварчик поставим, отогреешься,— Мария Петровна воткнула в розетку небольшой электрический самовар и принялась торопливо доставать из шкафчика разные варенья, меда и баранки.

— Вот, из города еду,— сумел, наконец, вставить слово отец Никодим,— дай, думаю, к Марии заверну. Что-то она нас, грешных, совсем позабыла, раз только зашла и пропала.

— Да, все не соберусь как-то,— смущенно пробормотала Мария Петровна, ставшую привычной, отговорку.

— Надо собраться! — твердо сказал отец Никодим и его серые глаза на мгнове-

ние вдруг стали небесно-голубыми.

— Только вперед! — добавил он загадочно.

Между тем, поспел самовар. Мария Петровна заварила душистый чай из собственноручно собранных, лечебных и просто полезных трав, и за этим чаем завязался у них долгий, душевный разговор. Были они с отцом Никодимом почти ровесники, оба прожили долгую, нелегкую жизнь и поговорить им было о чем. Мария Петровна как-то запросто, без утайки, рассказала отцу Никодиму про свою жизнь, про Ивана Николаевича, про Васю, про колхозную работу, про все, а отец Никодим поведал о себе. Как пас в детстве овец где-то в южных краях, как, потеряв в войну родителей, оказался в монастыре, которых потом сменил не один. Рассказал о том, что долго прожил в Греции на каком-то острове, названия которого Мария Петровна не запомнила, и выучил в совершенстве тамошний язык. Он даже спел ей на этом языке одно греческое церковное песнопение. Голос у отца Никодима оказался сильным и по-ангельски чистым, а само песнопение было настолько прекрасным, что, слушая его, Мария Петровна всплакнула, и душа у нее истаяла от неземного восторга. Уже, наверное, в четвертом часу утра отец Никодим всполошился

— Мать Мария! Засиделся я у тебя! Братия ведь хватятся! — и торопливо поднялся. — Ну, спасибо хозяйка за приют, за угощение, — сказал он и перекрестился на иконы. — Ты вот что, — на секунду задумавшись, обратился он к Марии Петровне, — если заскучаешь когда, то к нам приходи. Работы для тебя найдется, в меру сил, конечно. Можешь и пожить немного, коли будет желание. Келью выделим и с трапезой не обидим. А то одной-то тяжело, наверное? — глядя ей прямо в глаза своим пронизывающим взглядом, спросил он. От этого взгляда стало Марии Петровне не по себе, и она только молча кивнула. Уже подходя к двери, старый монах вдруг обернулся и, став каким-то совсем другим, сказал грозным голосом, от которого она враз затрепетала. — Ты, женщина, праведную жизнь прожила и не губи под конец венцов, тебе Господом уготованных! То, что задумала, — брось и внушений бесовских не слушай! Брось! — сурово и страшно повторил отец Никодим и даже притопнул ногой, обутой в сафьяновый сапожок. — Прогорели угли твои, — сказал он напоследок и вышел.

Мария Петровна, ни жива, ни мертва, просидела в оцепенении около часа, потом повалилась на кровать и прорыдала до утра. Какие-то тяжкие оковы упали с нее, и она до содрогания ясно представила себе, в какую адскую яму чуть было не прыгнула. «Самоубивцев проклятых сам сатана на дне геенском вечно пожирает!» — вспомнила она забытые слова бабки Лизаветы и заревела еще громче.

Следующие два дня Мария Петровна провела в чистой убаюкивающей тишине. Ей казалось, что мир вокруг нее сделался такой хрупкий, как будто стеклянный, и она ходила и делала все осторожно, чтобы ненароком не разбить эту красоту. В воскресенье Мария Петровна встала пораньше, беззвучно оделась и отправилась в монастырь. Нетерпеливо отстояв очередь, она подошла к аналою, где исповедовал отец Никодим, и в слезах опустилась перед ним на колени.

— Прости меня, отче, дуру окаянную! — тихо проговорила Мария Петровна.

— Что с тобой, матушка? — с удивлением и тревогой спросил отец Никодим, и Марии Петровне почудилось, что он вовсе и не узнал ее.

— Сам знаешь, родимый! — ответила она и поведала ему обо всех своих черных мыслях, о том, что задумала наложить на себя руки, и горячо благодарила отца Никодима за свое чудесное спасение.

— Ну-ка, ну-ка, ты поподробней расскажи, как я к тебе приходил, — попросил вроде как опешивший батюшка, и Мария Петровна, в недоумении от такой забывчивости, рассказала отцу Никодиму все события той фантастической ночи. Выслушав ее, отец Никодим закрыл глаза и стоял так, наверное, минут пять с крайне сосредоточенным и, в тоже время, светлым лицом. Женщины начали уже беспокоиться, но тут

он открыл глаза и сказал Марии Петровне: — Что хочешь со мною делай Мария, но не был я у тебя в ту ночь и не мог быть, потому как, действительно, был в городе и только вчера вернулся.

Мария Петровна от таких слов открыла рот и окаменела.

— А еще,— продолжал отец Никодим,— в Греции я никогда не бывал, языков не знаю, петь не умею и сапогов сафьяновых отродясь не носил, а все больше кирзовые,— и он показал свой огромный, в гармошку сапог со сбитыми каблуками.— Кто к тебе приходил — этого я сказать не могу. Одно только знаю точно, что это было чудо и великая милость Божия! — И уже после исповеди, благословив, виновато, почему-то, шепнул Марии Петровне.

— Ты, действительно, приходи к нам, если захочешь.

Мария Петровна с тех пор большую часть времени стала проводить в монастыре, помогая монахам на кухне, в стирке-глажке, да на привычном для нее скотном дворе. Несмотря на тяжесть трудов и старческие немощи, жизнь в монастыре при деле и в людях приносила ей только радость, которой она не знала в своей прошлой жизни. Мария Петровна теперь искренно недоумевала, как могла существовать раньше без Бога, без храма, без молитвы и уже ни в чем не сомневалась. Она часто вспоминала своего ночного гостя, и от этих воспоминаний ей становилось одновременно и тепло, и страшно.

Через два года, Великим постом, Мария Петровна что-то занемогла и сразу поняла, что это недомогание к смерти. Она последний раз исповедовалась у отца Никодима, причастилась Христовых Таин и отправилась помирать домой. Там через два дня сознание оставило ее, и на какое-то время Мария Петровна погрузилась в тревожное, горячее забытьё, наполненное какими-то неясными образами, голосами и звуками, которые томили и мучили ее душу. Вдруг туман рассеялся и Мария Петровна, необычайно ясно, увидела свою комнату и ухаживающую за ней Наталью Андреевну, которая почему-то не заметила ее пробуждения. Справа от себя там, где стояли иконы, Мария Петровна заметила свет. Она повернула голову и увидела, что от образов исходит тончайшее теплое сияние, и лик Богородицы как будто оживает. Черты ее лица сделались мягкими, а в дивных очах Мария Петровна увидела светлый океан милости Божией и, сладостно растворяясь, утонула в нем вся без остатка. Темный образ рядом тоже просветлел золотом, чернота обвалилась с него, как шлак, а внизу запылали огненные буквы: «Святитель Спиридон. Епископ Тримифунтский». Это был он — ее недавний спаситель. Она сразу узнала до радости знакомые черты, только теперь он был в невиданном, расшитым крестами, облачении и в странной, похожей на корзину, митре. Святитель вышел из образа, ведя с собой за руку мальчика в блистающей белой рубахе.

«Василек!» — захолонуло горячей волной счастья сердце Марии Петровны. Они подошли к изголовью ее кровати, и Святитель запел ту самую прекрасную песню, что пел ей тогда ночью, но голос его теперь серебряным колоколом звучал на всю вселенную. Рядом зазвенел еще один колокольчик — это подхватил песнопение Святителя ее Василек. Они пели, и стройный хор ангелов хрустальным водопадом вторил им с небес, и славословие Божие плыло ввысь, туда — в неведомую, сверкающую бесконечность, увлекая за собой, легкую, как пушинка, душу Марии Петровны.

Она умерла на третий день, не приходя в сознание. Отпевали Марию Петровну в монастырском храме и Наталья Андреевна, ухаживавшая за подругой во время ее недолгой болезни, рассказывала, что Мария Петровна в последний день все тянула руки к иконам, и из закрытых глаз ее текли слезы.